

ДЖОРДЖИЯ
ХАНТЕР

ДЕНЬ,
КОГДА
МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ

БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES



Звезды зарубежной прозы

Джорджия Хантер

День, когда мы были счастливы

«Издательство АСТ»

2017

УДК 821.111-31 (73)
ББК 84(7Сое)-44

Хантер Д.

День, когда мы были счастливы / Д. Хантер — «Издательство АСТ», 2017 — (Звезды зарубежной прозы)

ISBN 978-5-17-118613-5

Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех сил пытается жить нормальной жизнью, пока тень войны подбирается к порогу их дома. Но ход истории неумолим, и ужас, охвативший Европу, вскоре вынуждает Курцей искать пути спасения: кто-то отправляется в эмиграцию, кто-то идет работать на завод в еврейском гетто, а кто-то старается скрыть свое происхождение и остаться в родном городе. Эта семейная драма рассказывает о том, что даже в самый тяжелый момент истории человеческий дух способен на многое.

УДК 821.111-31 (73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-118613-5

© Хантер Д., 2017
© Издательство АСТ, 2017

Содержание

Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	13
Глава 4	19
Глава 5	28
Глава 6	32
Глава 7	36
Глава 8	40
Глава 9	45
Глава 10	51
Глава 11	55
Глава 12	58
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Джорджия Хантер

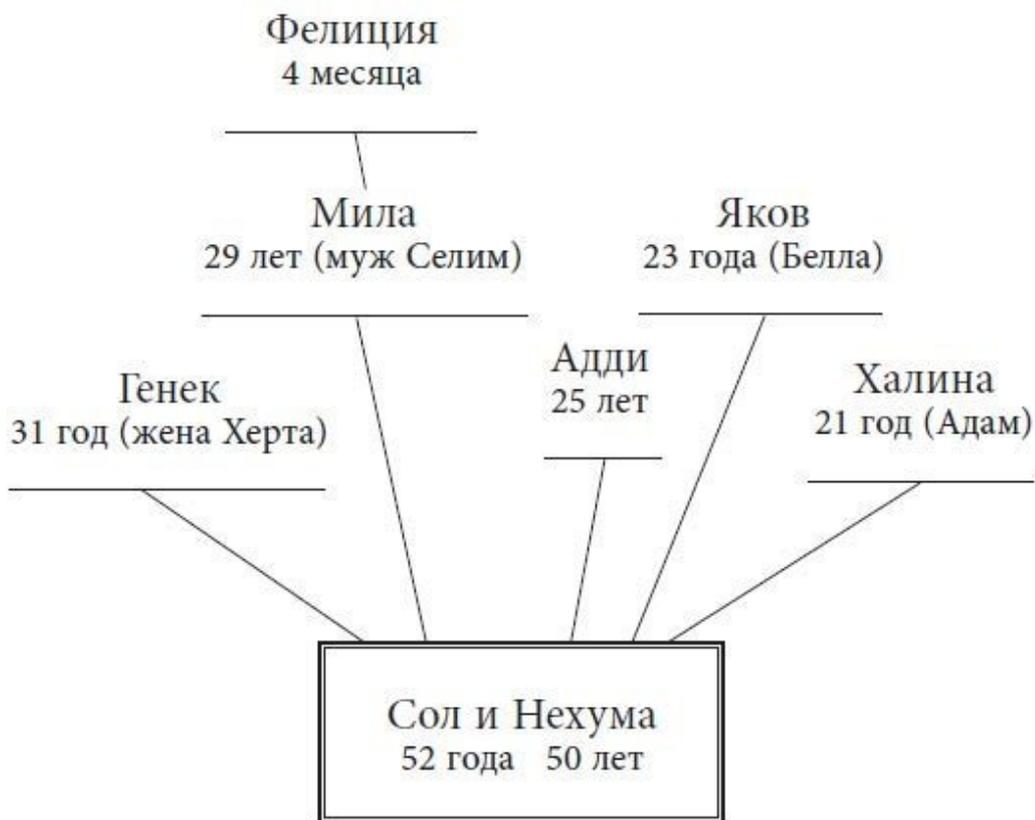
День, когда мы были счастливы

*Моему дедушке Адди, с любовью и изумлением.
И моему мужу Роберту, от всего сердца.*

Основано на реальных событиях

К концу Холокоста из трех миллионов польских евреев было уничтожено девяносто процентов. Из тридцати с лишним тысяч евреев, которые проживали в Радоме, уцелело меньше трехсот.

Семья Курцей март 1939 года



Часть первая

Глава 1

Адди

*Париж, Франция
начало марта 1939 года*

Он не планировал не спать всю ночь. Собирался уйти из «Гранд-Дюк» около полуночи и урвать несколько часов сна на Северном вокзале перед отправлением поезда до Тулузы. А теперь – он бросил взгляд на часы – почти шесть утра.

Это все Монмартр. Джаз-клубы и кабаре, толпы парижан, молодых и дерзких, которым ничто, даже угроза войны, не может испортить настроение. Это опьяняет. Он допивает коньяк и встает, борясь с искушением остаться еще на один, последний сет; наверняка есть поезд и позже. Но он думает о письме в кармане пальто, и дыхание перехватывает. Надо идти. Он берет пальто, шарф и кепку, прощается со спутниками и пробирается к выходу между столиками, еще наполовину занятыми посетителями, которые курят «Житан»¹ и покачиваются под песню Билли Холидей² Time on My Hands.

Когда двери за ним закрываются, Адди глубоко вдыхает, наслаждаясь свежим воздухом, сырым и прохладным. Иней на рю Пигаль начинает таять, и камни мостовой переливаются всеми оттенками серого под небом уходящей зимы. Чтобы успеть на поезд, придется поторопиться. Поворачиваясь, он украдкой бросает взгляд на свое отражение в витрине клуба: на него смотрит молодой человек приличного вида, несмотря на бессонную ночь. Уверенная поза, брюки высоко на талии, по-прежнему подвернутые и отутюженные, темные волосы зачесаны назад, как ему нравится, аккуратно, без пробора. Обернув шарф вокруг шеи, он направляется к вокзалу.

В других частях города улицы, наверное, еще тихие и пустынные. Большинство закрывающихся витрины решеток не откроются до полудня. Некоторые, чьи владельцы сбежали в сельскую местность, не откроются вовсе. «Закрывается на неопределенный срок» – гласят таблички в витринах. Но здесь, на Монмартре, суббота плавно перешла в воскресенье, и на оживленных улицах полно художников и танцоров, музыкантов и студентов. Они вываливаются из клубов и кабаре, смеются и ведут себя так, будто ничто в мире их не волнует. Адди опускает подбородок в воротник пальто и поднимает глаза как раз вовремя, чтобы не налететь на девушку в платье из серебристой парчи.

– Извините, мсье, – покраснев, улыбается она из-под желтого берета с пером.

Певица, догадывается Адди. Неделю назад он завел бы с ней разговор.

– Здравствуйтесь, мадмуазель, – кивает он, не останавливаясь.

Адди заворачивает на рю Виктор Массе, где около круглосуточной закуской «Митчеллс» уже начинается очередь. От аромата жареной курицы в животе бурчит. Сквозь стеклянную дверь ресторана видны посетители, болтающие над дымящимися кружками с кофе и тарелками с плотным американским завтраком. «В другой раз», – говорит он себе, направляясь на восток, к вокзалу.

¹ Gitanes (в пер. с фр. «цыганка») – культовая марка французских сигарет, основанная в 1910 году. Она является своеобразной частью французского стиля. – Здесь и далее – прим. пер.

² Билли Холидей, настоящее имя Элеанора Фейган (1915–1959) – американская певица, во многом повлиявшая на развитие джазового вокала своим оригинальным стилем пения.

Едва поезд отъезжает от станции, Адди достает из кармана письмо. Поскольку оно пришло вчера, он читал его уже раз шесть и не может думать ни о чем другом. Он проводит пальцами по адресу отправителя: «Польша, г. Радом, ул. Варшавская, 14».

Адди явственно видит свою маму: вот она сидит с ручкой за письменным столом из атласного дерева³, и солнце освещает ее круглый подбородок. Он даже не представлял, что будет так сильно скучать по ней, когда шесть лет назад уезжал из Польши во Францию. Тогда ему было девятнадцать и он всерьез подумывал остаться в Радоме, чтобы быть рядом с семьей и сделать карьеру на музыкальном поприще. Он сочинял музыку еще с подросткового возраста и не представлял лучшего занятия, чем проводить дни за клавишами, сочиняя песни. Именно мама убедила его послать заявление в престижный Политехнический институт Гренобля, а когда его приняли, она же настояла, чтобы он поехал.

– Адди, ты прирожденный инженер, – сказала она, напомнив, как в семилетнем возрасте он разобрал старый радиоприемник, рассыпал детали по обеденному столу и снова собрал его, как новенький. – Занимаясь музыкой, много не заработаешь. Я знаю, что это твоя страсть. У тебя талант, развивай его. Но сначала получи образование.

Адди понимал, что мама права, поэтому отправился в университет, пообещав вернуться домой после окончания обучения. Но как только он покинул провинциальный Радом, ему открылась новая жизнь. Через четыре года он получил диплом и предложение хорошо оплачиваемой работы в Тулузе. У него были друзья по всему миру: в Париже, Будапеште, Лондоне, Новом Орлеане. У него появились новые взгляды на искусство и культуру, он пристрастился к паштету фуа-гра и мягкому совершенству свежее испеченного круассана. У него была собственная квартира (хоть и малюсенькая) в самом сердце Тулузы, и он мог позволить себе роскошь вернуться в Польшу, когда пожелает, что он и делал по меньшей мере два раза в год: на Рош ха-Шана и Песах⁴. Свои выходные он проводил на Монмартре – районе, настолько насыщенном музыкальными талантами, что для местных жителей вполне в порядке вещей пропустить стаканчик с Коулом Портером в «Хот клуб», наблюдать за импровизацией Джанго Рейнхардта в «Бриктопс» или, что довелось Адди лично, с восторгом смотреть, как Жозефина Бейкер⁵ танцует фокстрот на сцене в «Зеллис» с гепардом в бриллиантовом ошейнике. Адди не помнил, когда еще в жизни испытывал большее вдохновение – настолько, что начал задумываться, каково будет переехать в Соединенные Штаты, родину великих, колыбель джаза. Возможно, в Америке, мечталось ему, он сможет попытаться счастье и добавить к современному канону собственные произведения. Это было соблазнительно, но означало еще большее расстояние между ним и семьей.

Адди вытряхивает мамино письмо из конверта, и по его позвоночнику пробегает дрожь.

«Дорогой Адди, спасибо за письмо. Нам с папой понравилось описание оперы во дворце Гарнье⁶. У нас все хорошо, хотя Генек все еще в ярости из-за понижения в должности, и я его не виню. Халина такая же, как всегда, такая вспыльчивая, что я часто боюсь, как бы она не

³ Атласное, или сатиновое, дерево растёт в сухих листопадных лесах юга Индии и острова Шри-Ланка. Используется в технике для изготовления некоторых деталей, а также для производства резной и инкрустированной мебели, паркета, панелей, декоративного облицовочного шпона и т. п.

⁴ Рош ха-Шана (в пер. с ивр., букв. «голова года») – еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь). Песах – центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. Начинается на четырнадцатый день весеннего месяца нисан (март – апрель) и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 – вне Израиля.

⁵ Коул Портер (1891–1964) – один из выдающихся американских композиторов легкого жанра. Джанго Рейнхардт (1910–1953) – французский джазовый гитарист-виртуоз, один из основателей стиля «джаз-мануш». Жозефина Бейкер (1906–1975) – американско-французская танцовщица, певица и актриса.

⁶ Парижская опера (также Гранд-опера, Опера Гарнье) – театр в Париже, один из самых известных и значимых театров оперы и балета мира. Расположена во дворце Гарнье в IX округе Парижа. Здание считается эталоном эклектической архитектуры в стиле боз-ар.

взорвалась. Мы ждем, когда Яков объявит о помолвке с Беллой, но ты же знаешь своего брата, его нельзя торопить! Я с удовольствием провожу дни с малышкой Фелицией. Жду не дождусь, когда ты с ней познакомишься, Адди. У нее начали расти волосы – ярко-рыжие! Когда-нибудь она проспит всю ночь. Бедняжка Мила совершенно измотана. Я повторяю ей, что дальше будет легче».

Адди переворачивает письмо и меняет положение. На этом месте мамин тон мрачнеет.

«Должна сказать, дорогой, что за последний месяц кое-что изменилось. Ротштайн закрыл свой металлургический завод – трудно поверить, после почти пятидесяти лет в бизнесе. Косман тоже перевез семью и торговлю часами в Палестину, после того как его магазин разгромили. Адди, я передаю эти новости не для того, чтобы ты волновался, просто мне кажется неправильным скрывать это от тебя. Что подводит меня к главной цели этого письма: мы с папой считаем, что на Песах тебе лучше остаться во Франции и повременить с визитом к нам до лета. Мы будем ужасно скучать, но считаем опасным путешествовать сейчас, особенно через Германию. Пожалуйста, Адди, подумай об этом. Дом никуда не денется – мы будем здесь. А пока что посылай нам новости, когда сможешь. Как продвигается новая мелодия?

С любовью, мама».

Адди вздыхает, снова пытаясь осознать написанное. Он слышал, что магазины закрываются, что еврейские семьи переезжают в Палестину. Мамины новости не стали для него неожиданностью. Его тревожит ее тон. До этого она упоминала, как все вокруг начало меняться – она была вне себя, когда Генека лишили юридической степени, – но в большинстве своем письма Нехумы были бодрыми и жизнерадостными. Еще в прошлом месяце она спрашивала, пойдет ли он с ней на концерт Монюшко в Большой театр в Варшаве⁷, и рассказывала про ужин, которым они с Солом наслаждались у Вержбицкого на свою годовщину, как Вержбицкий лично приветствовал их при входе и предложил приготовить для них что-нибудь особенное, не указанное в меню.

Это письмо другое. Адди понимает, что его мама напугана.

Он качает головой. Ни разу за свои двадцать пять лет он не видел, чтобы Нехума чего-то боялась. И ни разу ни он, ни его братья и сестры не пропустили Песах в Радоме. Для мамы нет ничего важнее семьи, а теперь она просит его остаться в Тулузе. Поначалу Адди убедил себя, что она преувеличивает. Но так ли это?

Он смотрит в окно на знакомый французский пейзаж. Из-за облаков проглядывает солнце, в полях появляются робкие намеки на весенние цветы. Мир выглядит безобидным, как всегда. И тем не менее материнское предостережение поколебало его уверенность, выбило из равновесия.

Закрыв глаза, Адди вспоминает свой последний приезд домой в сентябре в поисках подсказки, чего-то, что он мог пропустить. Отец сыграл свою еженедельную партию в карты в компании приятелей-торговцев – евреев и поляков – под фреской с белым орлом на потолке аптеки Подворского. Отец Кроль, священник из церкви святого Бернадина и почитатель Милиного таланта, зашел послушать ее игру на рояле. На Рош ха-Шана кухарка испекла халу⁸ в медовой глазури и Адди допоздна слушал Бенни Гудмена⁹, пил Кот-де-Нюи и смеялся с братьями.

⁷ Станислав Монюшко (1819–1872) – польский композитор; автор песен, оперетт, балетов, опер; творец польской национальной оперы, классик вокальной лирики. «Большой театр – Национальная опера», также Театр Вельки – оперный театр в Варшаве, построенный на Театральной площади в 1825–1833 годах по проекту Антонио Кораци. Полностью уничтожен немцами в период Второй мировой войны, восстановлен в 1965 году.

⁸ Хала – еврейский традиционный праздничный хлеб, который готовят из сдобного дрожжевого теста с яйцами, а также часть теста, отделяемая в пользу священников. Хлеб-халу едят в шаббат и на праздники. Отделение халы – один из видов жертвоприношения.

⁹ Бенни Гудмен (1909–1986) – американский джазовый кларнетист и дирижёр, имевший прозвище «Король свинга».

Даже Яков, как обычно замкнутый, отложил свою фотокамеру и присоединился к веселью. Все казалось относительно нормальным.

У Адди вдруг пересыхает в горле. Что, если подсказки были, но он не обратил на них внимания? Или еще хуже: что, если он не заметил их просто потому, что не хотел замечать?

Мысленно он возвращается к свеженарисованной свастике, которую видел на стене сада Годуи в Тулузе. К тому дню, когда подслушал, как его начальники в инженерной фирме шептались, считать ли его обузой, – они думали, что он не слышит. К магазинчикам, которые закрываются по всему Парижу. К фотографиям во французских газетах после ноябрьской «Хрустальной ночи»¹⁰: разбитые витрины, сожженные дотла синагоги, тысячи бегущих из Германии евреев, которые везут на тачках ночники, картошку и своих стариков.

Конечно, все признаки были налицо. Но Адди не придавал им значения, отмахнулся. Он сказал себе, что в граффити нет никакого вреда; если он потеряет работу, то найдет новую; события в Германии, хоть и тревожные, происходят за границей и не выйдут за ее пределы. Однако теперь, держа в руках мамино письмо, он с пугающей ясностью видит предупреждения, которые предпочел игнорировать.

Адди открывает глаза, его тошнит от понимания: «Тебе следовало вернуться домой много месяцев назад».

Он складывает письмо обратно в конверт и убирает его в карман пальто. Он напишет маме. Как только доберется до своей квартиры в Тулузе. Напишет, чтобы она не волновалась, что он приедет в Радом, как и планировалось, что теперь он хочет быть с семьей больше, чем когда-либо. Напишет, что новая мелодия пишется хорошо и что ему не терпится сыграть для нее. Эта мысль немного успокаивает, он представляет себя за клавишами родительского «Стейнвея», в кругу семьи.

Адди бросает еще один взгляд на безмятежную сельскую местность. Завтра он купит билет на поезд, выправит проездные документы, соберет вещи. Он не станет ждать Песах. Начальник будет недоволен, что он уедет раньше намеченного, но Адди плевать. Важно только, что через несколько коротких дней он будет на пути домой.

15 марта 1939 года. Через год после аннексии Австрии Германия вторгается в Чехословакию. На следующий день, почти не встретив сопротивления, Гитлер провозглашает в Праге Протекторат Богемии и Моравии. Благодаря этой оккупации Рейх получает не только территорию, но и квалифицированную рабочую силу, а также солидную огневую мощь в виде производимого в этих регионах оружия, достаточную, чтобы вооружить почти половину вермахта на тот момент.

¹⁰ Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин, – еврейский погром по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9–10 ноября 1938 года. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог.

Глава 2

Генек

*Радом, Польша
18 марта 1939 года*

Генек поднимает подбородок, и струйка дыма из его рта устремляется к выложенному серой плиткой потолку бара.

– Последняя партия, – объявляет он.

Сидящий напротив Рафал смотрит ему в глаза.

– Так быстро? – он затягивается собственной сигаретой. – Твоя жена пообещала что-то особенное, если ты придешь домой не слишком поздно?

Рафал подмигивает, выдыхая. Херта ужинала вместе со всеми, но ушла рано.

Генек смеется. Они с Рафалом дружат с начальной школы. Тогда, склонившись над подносами с обедом, они обсуждали, кого из одноклассниц пригласить на школьный бал в конце года или кого они предпочли бы увидеть обнаженной: Эвелин Брент или Рене Адоре. Рафал знает, что Херта не похожа на девушек, с которыми Генек встречался раньше, но любит дразнить его, когда Херты нет рядом. И Генек его не винит. До встречи с Хертой женщины были его слабостью (карты и сигареты тоже, если уж начистоту). Голубоглазый, с ямочками на щеках и неотразимым голливудским шармом, после двадцати он наслаждался ролью самого желанного холостяка Радома. В то время он вовсе не возражал против внимания. Но потом появилась Херта, и все изменилось. Теперь все по-другому. Она другая.

Что-то задевает икру Генека под столом. Он смотрит на сидящую рядом молодую женщину.

– Жалко, что ты уходишь, – говорит она, заглядывая ему в глаза.

Клара – Генек только сегодня с ней познакомился. Нет, Кара. Он не помнит. Она подруга жены Рафала, приехала из Люблина. Она лукаво улыбается уголком губ, мысок ее оксфорда¹¹ все еще упирается ему в ногу.

В прошлой жизни он мог бы остаться. Но флирт Генеку больше не интересен. Он улыбается девушке, немного жалея ее.

– На самом деле, мне пора, – говорит он, кладя карты на стол.

Он тушит свой «Мурад»¹², оставляя окурки торчать в переполненной пепельнице, словно кривой зуб, и встает.

– Джентльмены, леди, всегда рад. До встречи. Ивона, – добавляет он, обращаясь к жене Рафала, и кивает на друга, – следите, чтобы он не попал в беду.

Ивона смеется. Рафал снова подмигивает. Генек салютует двумя пальцами и идет к выходу.

Мартовская ночь на редкость холодна. Генек сует руки в карманы пальто и быстро шагает в сторону Зеленой улицы, предвкушая возвращение домой, к любимой женщине. Каким-то образом он понял, что Херта – его девушка, как только увидел ее два года назад. Он до сих пор ясно помнит те выходные. Они катались на лыжах в Закопане – курортном городке в долине гор Татры. Ему было двадцать девять, Херте – двадцать пять. Они случайно оказались на одном сиденье подъемника, и уже на десятой минуте поездки к вершине Генек в нее влюбился. Сна-

¹¹ Оксфорды – стиль обуви, полуботинки с «закрытой» шнуровкой. Женщины впервые стали носить оксфорды в 1920-х годах.

¹² Murad – турецкие сигареты из душистого табака, которые изготавливались вручную. Бренд прославился благодаря уникальному дизайну пачек и широкой рекламной кампании.

чала в ее губы, потому что они были полными и в форме сердечка, и это все, что он мог видеть между светло-кремовой вязаной шапочкой и шарфом. Сыграл роль и ее немецкий акцент, из-за которого Генеку приходилось прислушиваться к ней так, как он не привык, и непринужденная улыбка, и то, как на полпути к горе она запрокинула голову, закрыла глаза и сказала:

– Разве можно не любить запах сосны зимой?

Генек рассмеялся, на мгновение подумав, что она шутит, но понял, что это не так. Ее искренность вызывала у него восхищение, как и ее нескрываемая любовью к природе и умение видеть красоту в самых простых вещах. Генек последовал за ней вниз по склону, стараясь не слишком думать о том, что она катается в сто раз лучше, затем пристроился рядом с ней в очереди на подъемник и пригласил на ужин. Когда Херта засомневалась, он улыбнулся и сказал, что уже оплатил конные сани. Она засмеялась и, к восторгу Генека, согласилась на свидание. Через полгода он сделал ей предложение.

Войдя в квартиру, Генек с радостью замечает свет под дверью спальни. Херта лежит в кровати с любимым томиком стихов Рильке на коленях. Она родилась в Бельско, городе в западной Польше, большая часть населения которого говорила на немецком. Теперь она редко разговаривает на родном языке, но с удовольствием читает на нем, особенно поэзию. Она, похоже, не замечает, когда Генек входит в комнату.

– Должно быть, захватывающее стихотворение, – поддразнивает он.

– Ой! – поднимает глаза Херта. – Я не слышала, как ты пришел.

– Я волновался, что ты будешь спать, – улыбается Генек.

Он снимает пальто и бросает его на спинку стула, дышит на руки, чтобы согреть их.

Херта улыбается и кладет книгу на грудь, заложив пальцем страницу.

– Ты вернулся намного раньше, чем я думала. Проиграл все деньги? Тебя выгнали?

Генек снимает ботинки и блейзер, расстегивает манжеты рубашки.

– Вообще-то, я выиграл. Сегодня хороший вечер. Просто скучно без тебя.

В бледно-желтой сорочке, с глубоко посаженными глазами, идеальными губами и рассыпавшимися по плечам темно-русскими волосами, на фоне белого белья Херта выглядит явившейся из сна, и Генек снова напоминает себе, как безмерно ему повезло ее найти. Он раздевается до нижнего белья и забирается к ней в кровать.

– Я скучал по тебе, – говорит он, опираясь на локоть и целуя ее.

Херта облизывает губы.

– Твой последний напиток, дай угадаю... «Биша».

Генек кивает, смеется и снова целует ее. Их языки встречаются.

– Любимый, нам надо быть осторожнее, – шепчет Херта, отстраняясь.

– Разве мы не всегда осторожны?

– Просто... то самое время.

– Ох, – говорит Генек, наслаждаясь ее теплом, сладким цветочным ароматом шампуня на ее волосах.

– Было бы глупо допустить это сейчас, – добавляет Херта, – как ты считаешь?

Несколько часов назад за ужином они с друзьями разговаривали об угрозе войны, о том, как легко Австрия и Чехословакия упали в руки Рейха и какие изменения начались в Радоме. Генек громко возмущался своим понижением до помощника в юридической конторе и грозился переехать во Францию.

– По крайней мере там, – кипятился он, – я смогу использовать свою степень.

– Не уверена, что во Франции тебе будет лучше, – сказала Ивона. – Фюрер теперь нацеливается не только на немецкоговорящие территории. Что, если это только начало? Что, если Польша следующая?

На миг за столом воцарилась тишина.

– Невозможно, – нарушил ее Рафал, пренебрежительно мотнув головой. – Он может попытаться, но ему не дадут.

– Польская армия никогда этого не допустит, – согласился Генек.

Теперь он вспоминает, что во время этого разговора Херта извинилась и ушла.

Конечно, его жена права. Им следует быть осторожными. Было бы неразумно и безответственно привести ребенка в мир, который кажется настораживающе близким к краху. Но лежа так близко к Херте, Генек не может думать ни о чем, кроме ее кожи, изгиба ее бедра рядом с его. Ее слова, словно крошечные пузырьки из последнего бокала шампанского, поднимаются от ее губ и растворяются где-то у него в горле.

Генек целует ее в третий раз, и Херта закрывает глаза. «Она не на полном серьезе», – думает он и тянется через нее к выключателю, ощущая под собой ее мягкость. Комната погружается в темноту, и он скользит ладонью под ее сорочку.

– Холодный! – визжит Херта.

– Прости, – шепчет он.

– Генек...

Он целует ее скулу, мочку уха.

– Война, война, война. Я уже устал от нее, а она даже не началась.

Он проходится пальцами по ее ребрам вниз к талии.

Херта вздыхает, потом хихикает.

– Вот что я думаю, – добавляет Генек, округляя глаза, словно на него только что снизошло озарение. – А если войны не будет? – он недоверчиво качает головой. – Мы зря будем отказывать себе. И Гитлер, мелкий ублюдок, выиграет.

Он сверкает улыбкой.

Херта проводит пальцем по его щеке.

– Эти ямочки меня погубят, – качает она головой. Улыбка Генека становится шире, и Херта кивает. – Ты прав, – неохотно соглашается она. – Это было бы трагедией.

Ее книга с глухим стуком падает на пол, и Херта поворачивается на бок лицом к мужу.

– Bumsen den krieg¹³.

Генек смеется.

– Согласен. К черту войну, – говорит он, накрывая их обоих одеялом с головой.

¹³ К черту войну (нем.)

Глава 3 Нехума

Радом, Польша

4 апреля 1939 года, Песах

Нехума сервировала стол лучшим фарфором и приборами, расставив каждый как полагается на белой кружевной скатерти. Сол сидит во главе стола, держа в одной руке старенькую Агаду¹⁴ в кожаном переплете, а в другой – начищенный серебряный бокал для кидуша¹⁵. Он прочищает горло и поднимает взгляд на знакомые лица за столом.

– Сегодня мы чтим самое важное: нашу семью и наши традиции.

Его глаза, обычно окруженные морщинками от смеха, серьезны.

– Сегодня, – продолжает он спокойным баритоном, – мы отмечаем праздник мацы¹⁶, время нашего освобождения. – Он смотрит на свой текст. – Аминь.

– Аминь, – вторят остальные и выпивают вино.

По кругу передается бутылка, и бокалы наполняются вновь.

В тишине Нехума встает и зажигает свечи. Подойдя к середине стола, она чиркает спичкой и, закрыв ее ладонью, быстро подносит к каждому фитилю, надеясь, что остальные не заметят, как огонек дрожит между ее пальцами. Когда свечи зажжены, она трижды проводит над ними ладонью, закрывает руками глаза и произносит благословение. Заняв свое место за столом напротив мужа, она складывает руки на коленях, встречается глазами с Солом и кивает ему, давая знак начинать.

Комнату вновь наполняет голос Сола, Нехума переводит взгляд на пустой стул, который оставила для Адди, и на сердце становится тяжело от знакомой боли. Ее угнетает его отсутствие.

Письмо от Адди пришло неделю назад. Он благодарил Нехуму за честность и просил не волноваться. Писал, что вернется домой, как только оформит проездные документы. Эта новость принесла Нехуме одновременно облегчение и беспокойство. Приезд сына домой на Песах был ее самым заветным желанием, разве что за исключением того, чтобы он оставался в безопасности во Франции. Она старалась быть честной в надежде, что он поймет: сейчас Радом – зловещее место, путешествие по оккупированным Германией территориям не стоит риска, – но, наверное, слишком о многом умолчала. Ведь сбежали не только Косманы, а еще полдюжины семей. Она не рассказала ему о польских клиентах, которые перестали ходить к ним в магазин, о произошедшей неделю назад кровавой драке между двумя футбольными командами Радома, польской и еврейской, и о том, что юноши из обеих команд до сих пор ходят с разбитыми губами и синяками, обмениваясь свирепыми взглядами. Она умолчала об этом, чтобы уберечь его от боли и волнений, но, поступая так, не подвергла ли она его еще большей опасности?

Нехума ответила на письмо Адди, умоляя быть осторожным во время путешествия, а потом предположила, что он уже в пути. С тех пор каждый день она вздрагивала при звуке

¹⁴ Агада – большая область талмудической литературы, содержащая афоризмы и притчи религиозно-этического характера, исторические предания и легенды.

¹⁵ Кидуш – особое благословение в иудаизме, которое произносится по праздникам и в Шаббат. Чтение этого благословения, как правило, проводится над бокалом вина.

¹⁶ Маца – лепешки из теста, не прошедшего сбраживание, разрешенного к употреблению в течение еврейского праздника Песах.

шагов в прихожей, сердце колотилось при мысли, что Адди появится в дверях с улыбкой на красивом лице и саквояжем в руках. Но шаги всегда оказывались не его. Адди не приехал.

– Может, ему пришлось завершать что-нибудь по работе, – предположил Яков на неделе, чувствуя ее растущее беспокойство. – Не думаю, что начальник разрешил бы ему уехать, не предупредив за пару недель.

Но Нехума думает только об одном: «Что, если его задержали на границе? Или хуже?». Чтобы добраться до Радома, Адди придется ехать на север через Германию или на юг через Австрию и Чехословакию, а обе эти страны попали под власть нацистов. Мысль о том, что сын окажется в руках немцев – судьба, которой можно было бы избежать, если бы она была с ним более откровенной, более настойчиво попросила оставаться во Франции, – не дает ей заснуть по ночам.

Глаза щиплет от слез, и мысли Нехумы возвращаются к другому апрельскому дню, во время Великой войны четверть века назад, когда они с Солом были вынуждены провести Песах, съездившись в подвале. Их выгнали из квартиры, и им, как и многим их друзьям в то время, было некуда идти. Она вспоминает удушающий смрад человеческих испражнений, неумолчные стоны пустых желудков, гром далеких пушек, ритмичный скрип ножа Сола, которым тот вырезал из старого полена фигурки для детей и вытаскивал занозы из пальцев. Праздник наступил и прошел незамеченным, не говоря уже о традиционном седере¹⁷. Каким-то образом они прожили в том подвале три года, дети питались ее грудным молоком, пока венгерские офицеры располагались в их квартире наверху.

Нехума смотрит через весь стол на Сола. Те три года чуть не сломали ее, но теперь они настолько далеки, словно все это случилось с кем-то совсем другим. Ее муж никогда не говорит о том времени, у детей, слава Богу, не сохранилось отчетливых воспоминаний. Потом были погромы – погромы будут всегда, – но Нехума отказывается даже думать о возвращении к такой жизни – жизни без солнечного света, без дождя, без музыки и искусства, без философских споров, простых благ, которыми она привыкла дорожить. Нет, она не вернется в подвал, словно какое-то бездомное животное, она больше никогда не будет жить так снова.

Невозможно, чтобы до этого дошло.

Она обращается мыслями к собственному детству, к голосу матери, которая рассказывает о том, что во времена ее детства польские мальчишки частенько швыряли камни в ее покрытую платком голову, что, когда построили первую синагогу, по всему городу прокатились беспорядки. Мама Нехумы спокойно относилась к этому. «Мы просто научились не поднимать головы и держать детей рядом», – говорила она. И действительно, нападения, погромы – они прошли. Жизнь продолжалась, как и раньше. Как всегда.

Нехума знает, что германская угроза, как и другие угрозы до нее, тоже пройдет. И к тому же их теперешнее положение сильно отличается от того, которое было во время Великой войны. Они с Солом без усталости трудились, чтобы заработать себе на жизнь, закрепиться среди лучших профессионалов города. Они говорят на польском даже дома, в то время как многие евреи в городе общаются только на идише. И живут не в Старом городе, как большинство менее состоятельных евреев, а в собственной внушительной квартире в центре города, с кухаркой и горничной, и позволяют себе такую роскошь, как домашний водопровод, ванну, которую они сами привезли из Берлина, холодильник и – особо почитаемую в их доме вещь – кабинетный рояль «Стейнвей». Их магазин тканей процветает: Нехума в своих поездках за покупками тщательно отбирает высококачественные ткани, и их клиенты, как поляки, так и евреи, приезжают даже из Кракова, чтобы приобрести женскую одежду и шелка. Их дети учились в элитных частных школах, где, благодаря сшитым на заказ рубашкам и прекрасному поль-

¹⁷ Седер Песах – ритуальная семейная трапеза, проводимая в начале праздника Песах. Время проведения – вечер на исходе 14-го числа месяца нисана по еврейскому календарю.

скому языку, без проблем сливались с католическим большинством учеников. Сол и Нехума хотели не только обеспечить детям лучшее образование, но и надеялись дать им возможность обойти антисемитские настроения, которые с незапамятных времен определяли жизнь евреев в Радоме. Несмотря на то что их семья с гордостью почитала свое происхождение и участвовала в жизни местной еврейской общины, для своих детей Нехума выбрала путь, который, она надеялась, даст им больше возможностей и уберезет от гонений. И этот путь она отстаивала, даже когда время от времени в синагоге или в одной из еврейских пекарен в Старом городе ловила на себе неодобрительные взгляды наиболее ортодоксальных евреев Радомы. Как будто ее решение жить среди поляков каким-то образом уменьшает ее веру. Она отказывается волноваться из-за таких случаев. Она тверда в своей вере и, кроме того, считает, что религия – личное дело каждого.

Она расправляет плечи, и грудь перестает тянуть ее вниз. Так терзаться совсем не похоже на нее. «Соберись, – журит она себя. – С семьей все будет хорошо». У них изрядные сбережения. У них связи. Адди появится. На почту нельзя полагаться; скорее всего, письмо, объясняющее его отсутствие, придет со дня на день. Все будет хорошо.

Сол благословляет карпас¹⁸, Нехума обмакивает побег петрушки в соленую воду и задевает руку Якова. Она вздыхает, чувствуя, как расслабляются напряженно сжатые челюсти. Милый Яков. Он ловит ее взгляд и улыбается, и сердце Нехумы наполняется радостью от того, что он еще живет под ее крышей. Она обожает его общество, его спокойствие. Он отличается от других ее детей. Его братья и сестры пришли в этот мир с красными личиками и громкими криками, а Яков родился белым, как ее больничная простыня, и молчаливым, словно подражая гигантским снежинкам, мирно падавшим за окном тем февральским утром двадцать три года назад. Нехума никогда не забудет мучительные мгновения перед тем, как он наконец закричал – в тот момент она была уверена, что он не проживет и дня, – или как она взяла его на руки и посмотрела в черные глазки, а он уставился на нее, наморщив лобик, будто глубоко задумался. Именно тогда она и поняла, какой он. Тихий, да, но смысленный. Как братья и сестры, родившиеся до и после него, крошечная версия человека, которым вырастет.

Нехума смотрит, как Яков наклоняется прошептать что-то Белле на ушко. Белла подносит к губам салфетку, пряча улыбку. Пламя свечей отражается на брошке у нее на воротнике. Золотая роза с кремовой жемчужиной в центре – подарок Якова, который он сделал через несколько месяцев после их первой встречи в гимназии. Ему было пятнадцать, а ей – четырнадцать. Тогда Нехума знала только, что Белла серьезно относится к учебе, что семья ее скромного достатка (Яков говорил, что ее отец, дантист, до сих пор выплачивает займы, которые брал, чтобы оплатить образование дочери) и что она сама шьет себе одежду. Последнее произвело на Нехуму сильное впечатление, и с тех пор она пыталась угадать, какая из элегантных блузок Беллы была покупной, а какая – сшитой дома. Вскоре после того, как Яков подарил Белле брошь, он объявил ее своей невестой.

– Яков, дорогой, тебе пятнадцать... и вы только недавно познакомились! – воскликнула Нехума.

Но Яков не из тех, кто преувеличивает, и вот, восемь лет спустя, они с Беллой неразлучны. Нехума думает, что лишь вопрос времени, когда они поженятся. Наверное, Яков делает предложение, когда утихнут разговоры о войне. Или, может быть, он ждет, пока накопит достаточно, чтобы позволить себе собственное жилье. Белла тоже живет с родителями – всего в нескольких кварталах на запад, на бульваре Витольда. Как бы там ни было, Нехума уверена, что у Якова есть план.

¹⁸ Карпас – один из ингредиентов, обязательно присутствующих на пасхальном блюде (кеаре). Это овощ или зелень, которые едят руками, обмакивая в соленую воду.

Во главе стола Сол аккуратно разламывает мацу надвое. Одну половину кладет на блюдо, а вторую заворачивает в салфетку. Когда дети были младше, Сол неделями подыскивал идеальное место, чтобы спрятать мацу, и когда приходило время искать спрятанный афикоман¹⁹, дети, словно мыши, разбегались по квартире на поиски. Тот, кому повезло, безостановочно хвастался, после чего неизменно уходил с гордой улыбкой и достаточным количеством злотых в кулачке, чтобы купить мешок сливочной помадки в кондитерской Помяновского. Сол был бизнесменом и играл жестко – его называли Королем торга, – но его дети прекрасно знали, что глубоко в душе он мягкий, как горка свежесбитого масла, и что при достаточном терпении и обаянии они могут выманить у него из карманов все до последнего злотаго. Конечно, он уже давно не прячет мацу. В подростковом возрасте его дети стали бойкотировать ритуал («Папа, тебе не кажется, что мы уже взрослые для этого?» – сказали они), но Нехума знает: как только их внучка Фелиция научится ходить, он возобновит традицию.

Теперь очередь Адама читать вслух. Он берет свою Агаду и смотрит в нее через очки в толстой оправе. У него узкий нос, высокие, точеные скулы и гладкая кожа, которую подчеркивает свет свечей. Он выглядит почти царственно. Адам Эйхенвальд появился в доме Курцей несколько месяцев назад, когда Нехума разместила в витрине магазина тканей объявление «Сдаю комнату». Недавно умер ее дядя, и после него осталась свободная спальня, а квартира, хотя в ней еще жили двое младших, стала казаться Нехуме пустой. Больше всего Нехума любит, чтобы за обеденным столом было многолюдно. Когда Адам заглянул в магазин, чтобы узнать условия, она пришла в восторг и тут же предложила ему комнату.

– Какой симпатичный молодой человек! – воскликнула Терза, сестра Сола, когда он ушел. – Ему тридцать два? Выглядит на десять лет моложе.

– Он еврей, и он умный, – добавила Нехума.

Каковы шансы, шептались женщины, что юноша – выпускник архитектурного факультета Львовского политеха – покинет дом 14 по Варшавской улице неженатым? И действительно, через несколько недель Адам и Халина стали парой.

Халина. Нехума вздыхает. Обладательница необъяснимой гривы медово-светлых волос и сверкающих зеленых глаз, Халина самая младшая и самая миниатюрная из ее детей. Однако недостаток роста она десятикратно компенсирует характером. Нехума никогда не встречала настолько упорного ребенка, способного уговорить кого угодно. Она вспоминает, как пятнадцатилетняя Халина, пустив в ход свое обаяние, упростила профессора математики не выносить ей выговор, когда он обнаружил, что она пропустила урок, чтобы попасть на утренний сеанс «Неприятностей в раю»²⁰ в день премьеры, и как в шестнадцать она за несколько минут до отправления убедила Адди поехать с ней на ночном поезде в Прагу, чтобы встретить их общий день рождения в Городе тысячи шпилей. Адам, благослови Бог его сердце, явно очарован ею. К счастью, в присутствии Сола и Нехумы он исключительно почтителен.

Когда Адам заканчивает читать, Сол произносит благословение над оставшейся мацой, отламывает кусочек и передает блюдо дальше. Нехума слушает тихий хруст пресного хлеба, совершающего свой путь вокруг стола.

– Благословен ты, – поет Сол, но внезапно замолкает, когда его прерывает пронзительный плач.

Фелиция. Покраснев, Мила извиняется и встает, чтобы взять малышку из колыбели в углу комнаты. Пританцовывая, она тихо шепчет на ушко Фелиции что-то успокаивающее. Как

¹⁹ Афикоман – завершающее блюдо во время седера. В начале пасхального вечера ведущий его берёт три листа мацы, вынимает средний лист и ломает его пополам. Потом он берёт большую часть разломанной мацы и откладывает ее в сторону. Это афикоман. По традиции ведущий прячет афикоман от детей, которые потом его ищут. Нашедший получает маленький подарок.

²⁰ «Неприятности в раю» (англ. Trouble in Paradise) – романтическая комедия Эрнста Любича, вышедшая на экраны в 1932 году, свободная экранизация пьесы Аладара Ласло «Честный искатель».

только Сол начинает снова, Фелиция изгибается в своих пеленках, ее личико кривится и краснеет. Когда она плачет во второй раз, Мила извиняется и торопливо уходит по коридору в спальню Халины. Нехума идет за ней.

– Что такое, любимая? – шепчет Мила, потирая пальцем верхнюю десну Фелиции. Она видела, как Нехума делала так. Фелиция поворачивает головку, выгибает спину и плачет еще громче.

– Может, она голодная? – спрашивает Нехума.

– Я недавно покормила ее. Думаю, она просто устала.

– Давай, – говорит Нехума, забирая внучку у Милы.

Глазки Фелиции крепко зажмурены, ручки сжаты в кулачки. Ее рыдания выходят короткими пронзительными криками.

Мила тяжело опускается в изножье кровати Халины.

– Мама, мне так жаль, – говорит она, стараясь не перекрикивать плач Фелиции. – Так неудобно, что мы нарушаем порядок. – Она трет глаза основанием ладоней. – Я едва слышу собственные мысли.

– Никто не возражает.

Нехума прижимает Фелицию к груди и тихонько покачивает. Через несколько минут крики переходят в хныканье, и скоро малышка снова затихает с умиротворенным лицом. «Это завораживает, радость держать младенца на руках», – думает Нехума, вдыхая сладкий миндальный аромат Фелиции.

– Глупо было думать, что будет легко, – говорит Мила.

Она поднимает покрасневшие глаза, кожа под ними прозрачно-фиолетовая, как будто недостаток сна оставил синяки. Она старается, Нехума это видит. Но быть молодой матерью тяжело. Период адаптации ее вымотал.

Нехума качает головой.

– Мила, не будь так строга к себе. Все оказалось не так, как ты думала, но этого и следовало ожидать. С детьми всегда все не так, как ты себе представляешь.

Мила смотрит на свои руки, и Нехума вспоминает, как в детстве ее старшая дочь больше всего на свете хотела быть матерью: как она ухаживала за куклами, качала их на ручках, пела им, даже понарошку кормила грудью; с какой гордостью она заботилась о младших братьях и сестрах, предлагала завязать им ботинки, перевязать марлей разбитые коленки, почитать перед сном. Но сейчас, когда у нее появился собственный ребенок, Мила, похоже, ошеломлена этим, как будто в первый раз держит ребенка на руках.

– Хотела бы я знать, что делаю не так, – говорит Мила.

Нехума тихонько садится рядом с ней в ногах кровати.

– Мила, ты все делаешь так. Я говорила тебе, с детьми трудно. Особенно с первыми. Когда родился Генек, я чуть с ума не сошла, пытаюсь разобраться. Просто нужно время.

– Прошло уже пять месяцев.

– Потерпи еще немножко.

Мила молчит.

– Спасибо, – наконец шепчет она, глядя на спокойно спящую Фелицию на руках у Нехумы. – Я чувствую себя жалкой неудачницей.

– Это не так. Ты просто устала. Почему бы тебе не позвать Эстию? Она управилась на кухне и может помочь, пока мы закончим трапезу.

– Хорошая идея, – вздыхает Мила с облегчением.

Она оставляет Фелицию с Нехумой и идет искать горничную. Когда они с Нехумой возвращаются за стол, Мила смотрит на Селима.

– Все хорошо? – одними губами спрашивает он, и она кивает.

Сол кладет на мацу ложку хрена, и остальные делают то же самое. Вскоре он снова поет. Когда благословение на корех²¹ завершено, наконец настает время трапезы. Блюда передаются из рук в руки, и столовая наполняется гулом разговоров и звяканьем серебряных ложек по фарфору, на блюдах горкой лежат засоленная сельдь, жареный цыпленок, картофельный пудинг и сладкий яблочный харосет²². Члены семьи пьют вино и тихо разговаривают, опасливо избегая упоминаний о войне и громко интересуясь местонахождением Адди.

При упоминании Адди в сердце Нехумы возвращается боль, принеся с собой целый хор тревог. Его арестовали. Бросили в тюрьму. Депортировали. Ему больно. Страшно. Он не может с ней связаться. Она снова бросает взгляд на пустой стул сына. «Где ты, Адди?» Она прикусывает губу. «Не смей», – предупреждает она, но уже поздно. Она слишком быстро пила свое вино и утратила равновесие. Горло сжимает спазм, и стол превращается в размытую белую полосу. Слезы грозят пролиться, когда под столом ее пальцы накрывает чья-то ладонь. Яков.

– Это все хрен, – шепчет Нехума, махая свободной рукой перед лицом и моргая. – Каждый раз пробирает.

Она украдкой промокает уголки глаз салфеткой. Яков понимающе кивает и крепко сжимает ее руку.

Через несколько месяцев, в другом мире, Нехума оглянется на этот вечер, последний Пейсах, когда они почти все были вместе, и каждой клеточкой тела пожелает прожить его вновь. Она вспомнит знакомый запах фаршированной рыбы, звон серебра по фарфору, вкус петрушки на языке, соленый и горький. Она будет тосковать по прикосновению нежной кожи малышки Фелиции, по тяжести руки Якова на ее руке под столом, по вызванному вином теплу в животе, которое убеждало ее поверить, что в итоге все действительно может закончиться хорошо. Вспомнит, как счастливо Халина смотрела на рояль после трапезы, как они все танцевали, как говорили о том, что скучают по Адди, и уверяли друг друга, что он скоро будет дома. Она будет снова и снова мысленно проигрывать каждый прекрасный момент этого вечера и смаковать их, как последние в сезоне сладкие груши.

23 августа 1939 года. Нацистская Германия и Советский Союз подписывают пакт Молотова-Риббентропа о ненападении – секретное соглашение, определившее границы будущего раздела большей части Северной и Восточной Европы между Германией и Советами.

1 сентября 1939 года. Германия вторгается в Польшу. В ответ на это через два дня Великобритания, Франция, Австралия и Новая Зеландия объявляют войну Германии. В Европе начинается Вторая мировая война.

²¹ Корех – «бутерброд» из мацы и марора (горькой зелени).

²² Харосет – смесь из тертых яблок, орехов, специй и красного вина.

Глава 4

Белла

*Радом, Польша
7 сентября 1939 года*

Белла сидит, притянув колени к груди, зажав в кулаке носовой платок. Возле двери спальни еле видны очертания прямоугольного кожаного чемодана. На самом краешке кровати у ее ног сидит Яков, холодный ночной воздух еще цепляется за его твидовое пальто. Слышали ли родители, как он поднимался к ним на второй этаж и на цыпочках крался по коридору в ее комнату? Она уже давно дала Якову ключ от своей квартиры, чтобы он мог приходить, когда захочет, но он никогда не был настолько дерзким, чтобы явиться в такой час. Белла сует пальцы ног между матрасом и его бедром.

– Нас отправляют сражаться во Львов, – запыхавшись, говорит Яков. – Если что-нибудь случится, давай встретимся там.

Белла пытается рассмотреть в полутьме его лицо, но видит только очертания подбородка и затененные белки глаз.

– Львов, – шепчет она и кивает.

Во Львове, городе в трехстах пятидесяти километрах к юго-востоку от Радома, живет младшая сестра Беллы, Анна, со своим мужем Даниелом. Анна уговаривала Беллу подумать о переезде поближе к ней, но Белла знала, что не сможет оставить Якова. За восемь лет своего знакомства они никогда не жили дальше, чем в четырехстах метрах друг от друга.

Яков переплетает ее пальцы со своими, подносит их к губам и целует. Этот жест напоминает Белле о том дне, когда он впервые признался ей в любви. Они так же держались за руки, переплетая пальцы, сидя лицом друг к другу на одеяле, расстеленном на траве в парке Костюшко. Ей было шестнадцать лет.

– Я люблю тебя, красавица, – нежно сказал Яков.

Его слова были такими чистыми, а выражение ореховых глаз таким искренним, что ей захотелось плакать, несмотря на то что тогда она подумала: что такой молодой юноша может знать о любви. Сегодня, в свои двадцать два, она уверена как никогда. Яков тот мужчина, с которым она проведет свою жизнь. А теперь он покидает Радом, без нее. Часы в углу бьют один раз, и они с Яковым вздрагивают, словно их ужалила пара невидимых ос.

– Как... как вы туда доберетесь?

Ее голос звучит тихо. Она боится, что если будет говорить громче, то сорвется и рыдание, застрявшее в горле, вырвется наружу.

– Нам сказали собраться на вокзале в четверть второго, – говорит Яков, бросая взгляд на дверь и отпуская ее руки. Он накрывает ее колени ладонями, и сквозь хлопок ночной сорочки Белла чувствует, какие они холодные. – Мне пора.

Яков прислоняется грудью к ее коленям и прижимается своим лбом к ее.

– Я люблю тебя, – выдыхает он, их носы соприкасаются. – Больше всего на свете.

Белла закрывает глаза, когда он целует ее. Все кончается слишком быстро. Когда она открывает глаза, Якова уже нет, а ее щеки мокрые.

Белла вылезает из кровати и подходит к окну, деревянные половицы под голыми ступнями холодные и гладкие. Слегка отодвинув занавеску, она смотрит со второго этажа вниз на бульвар Витольда в поисках признаков жизни: мигания фонарика, чего угодно, – но в городе уже несколько недель режим светомаскировки, даже уличные фонари не горят. Ей ничего не видно. Как будто она вглядывается в бездну. Белла открывает окно, прислушиваясь к шагам,

к далекому вою немецкого пикирующего бомбардировщика. Но улица, как и небо над ней, пуста, тишина лежит тяжелым одеялом.

Так много произошло за одну неделю. Всего шесть дней назад, первого сентября, немцы напали на Польшу. На следующий же день, перед рассветом, на предместьях Радома посыпались бомбы. Временный аэродром был уничтожен, а вместе с ним десятки кожевенных заводов и обувных фабрик. Ее отец заколотил окна, и они укрылись в подвале. Когда взрывы закончились, жители Радома копали траншеи – поляки и евреи плечом к плечу – в последнем усилии защитить город. Но траншеи оказались бесполезны. Белла с родителями были вынуждены снова прятаться, когда начали падать новые бомбы, на этот раз среди бела дня из низко летевших «Штук» и «Хейнкелей», в основном на Старый город. Некоторые разрывались метрах в пятидесяти от квартиры Беллы. Авианалеты продолжались несколько дней, пока немцы не захватили Кельце, город в шестидесяти пяти километрах к юго-западу от Радома. Тогда и поползли слухи, что скоро прибудет вермахт, вооруженные силы Третьего Рейха, а на всех углах по радио стали громко передавать приказ всем молодым и дееспособным записываться в армию. Тысячи мужчин покидали Радом и направлялись на восток, торопясь на соединение с польской армией, их сердца были полны патриотизма и неопределенности.

Белла представляет, как Яков, Генек, Селим и Адам молча идут мимо городских магазинчиков одежды и металлоизделий в сторону вокзала, который каким-то образом уцелел во время бомбежек. В их чемоданах минимум вещей. Яков сказал, что во Львове ждет пехотная дивизия. Но правда ли это? Почему Польша так долго тянула с мобилизацией? С момента вторжения прошла всего неделя, а сводки уже обескураживают: армия Гитлера слишком велика, слишком быстро продвигается и больше чем в два раза превосходит польскую по численности. Великобритания и Франция обещали помощь, но до сих пор Польша не видит признаков военной поддержки.

Белле становится нехорошо. Такого не должно было случиться. К этому времени они уже должны были жить во Франции. Они планировали переехать, как только Яков окончит юридическую школу. Он нашел бы место в какой-нибудь конторе в Париже или Тулузе, поближе к Адди, а параллельно работал бы фотографом, совсем как его брат, который в свободное время сочиняет музыку. Они с Яковым очарованы рассказами Адди про Францию и ее свободы. Там они поженились бы и завели семью. Если бы только им хватило предусмотрительности уехать до того, как путешествие во Францию стало слишком опасным, до того, как мысли оставить семьи стали слишком пугающими. Белла пробует представить Якова с винтовкой в руках. Способен он застрелить человека? Невозможно. Это же Яков. Он не создан для войны, в нем нет ни капли агрессии. Единственный спусковой крючок, который ему суждено нажимать, находится в его фотокамере.

Она осторожно опускает окно. «Пусть только мальчики невредимыми доберутся до Львова», – снова и снова молится она, глядя на бархатную черноту внизу.

Три недели спустя измотанная, но не способная заснуть Белла лежит на узкой деревянной лавке вдоль борта конной повозки. «Сколько времени?» Где-то после полудня, решает она. Под брезентовой крышей повозки недостаточно света, чтобы увидеть стрелки на наручных часах. Даже снаружи это почти невозможно. Когда дождь заканчивается, небо, плотно затянутое тучами, остается свинцово-серым. Как возница выдерживает столько часов под дождем, Белла понятия не имеет. Вчера лило так сильно и долго, что дорога скрылась под потоками жидкой грязи, и коням с трудом удавалось удерживать равновесие. Дважды повозка чуть не опрокинулась.

Белла отсчитывает дни по вареным яйцам, оставшимся в корзинке с едой. В начале поездки их было двенадцать, а сегодня утром осталось последнее, значит, сегодня двадцать девятое сентября. В обычное время дорога на повозке до Львова заняла бы самое большее

неделю. Но непрерывные дожди усложнили продвижение. Воздух внутри повозки влажный и пахнет плесенью. Белла уже привыкла к ощущению липкой кожи и постоянно влажной одежды.

Под скрип повозки она закрывает глаза и думает о Якове, вспоминает ночь, когда он пришел попрощаться, его холодные ладони на своих коленках, тепло его дыхания, когда он целовал ее пальцы.

Восьмого сентября, всего на следующий день после его отправления во Львов, в Радом вошли силы вермахта. Сначала немцы послали одинокий самолет, и Белла с отцом следили, как он летел низко над городом, сделал круг и выпустил оранжевую ракету.

– Что это значит? – спросила Белла, пока самолет удалялся, чтобы исчезнуть в сером скоплении набрякших, низко висевших туч.

Отец молчал.

– Папа, я взрослая женщина. Просто скажи, – прямо попросила Белла.

Генри отвел глаза в сторону.

– Это значит, что они идут, – ответил он, и Белла заметила на его лице – в опущенных уголках плотно сжатых губ, в складках морщин между бровей – то, чего никогда раньше не видела. Отец боялся.

Через час, как раз когда начался дождь, Белла смотрела из окна квартиры, как в Радом, не встретив никакого сопротивления, входят колонны наземных частей. Она услышала их раньше, чем увидела: танки, лошади и мотоциклы с грохотом продвигались по грязи с запада. Когда они показались, она задержала дыхание, боясь смотреть и одновременно боясь отвернуться. Ее взгляд прикипел к ним, когда они проезжали по бульвару Витольда, в форме бутылочно-зеленого цвета и испещренных каплями дождя защитных очках. Такая мощь, такая лавина. Они наводнили пустые улицы города и к наступлению ночи заняли правительственные учреждения, объявив город своим и развесив повсюду флаги со свастикой, сопровождая это пыльными возгласами «Хайль Гитлер!». Белла никогда не забудет этого зрелища.

Когда город официально оккупировали, насторожились все, и евреи, и поляки, но с самого начала стало очевидно, что главными целями нацистов были евреи. Тот, кто осмеливался выйти на улицу, рисковал подвергнуться травле, унижениям, побоям. Жители Радома быстро научились покидать свои дома, где они чувствовали себя в безопасности, только по самым неотложным делам. Белла вышла только один раз, купить хлеба и молока, но обнаружила, что еврейский рынок в Старом квартале, на который она часто ходила, разграблен и закрыт, так что пришлось идти в ближайшую польскую бакалейную лавку. Она старалась идти по задворкам быстрым, целеустремленным шагом, но на обратном пути наткнулась на сцену, которая еще много недель стояла перед глазами. Солдаты вермахта окружили раввина со связанными за спиной руками. Старик безуспешно пытался освободиться, бешено тряс головой из стороны в сторону, а они смеялись. И только проходя мимо, Белла поняла, что солдаты подожгли старику бороду.

Через несколько дней после занятия Радома немцами пришло письмо от Якова. «Любимая, – писал он торопливым почерком, – приезжай во Львов как можно скорее. Нас расселили по квартирам. Моя достаточно большая для двоих. Мне плохо, когда ты так далеко. Ты нужна мне здесь. Пожалуйста, приезжай».

Яков приложил адрес. К удивлению Беллы, родители согласились ее отпустить. Они знали, как сильно она скучала по Якову. И по крайней мере во Львове, рассуждали Генри и Густава, Белла и ее сестра Анна смогут присматривать друг за другом. С огромным облегчением и благодарностью Белла прижала к щеке отцовскую ладонь. На следующий день она отнесла письмо Якова его отцу, Солу. У ее родителей не было денег, чтобы нанять возницу. Семья Курцей, напротив, обладала средствами и связями, и Белла была уверена, что они согласятся помочь.

Однако поначалу Сол выступил против.

– Ни в коем случае. Путешествовать одной слишком опасно, – сказал он. – Я не могу этого разрешить. Если с тобой что-нибудь случится, Яков никогда мне этого не простит.

Львов еще не сдался, но ходили слухи, что немцы окружили город.

– Пожалуйста, – умоляла Белла. – Хуже, чем здесь, быть не может. Яков не просил бы меня приехать, если бы не верил, что это безопасно. Я должна быть с ним. Мои родители согласились... Пожалуйста, пан Курц. Проше.

Три дня Белла упрашивала Сола, и три дня он отказывался. Наконец на четвертый день он уступил.

– Я найму повозку, – сказал он, качая головой, словно недовольный собственным решением. – Надеюсь, что не пожалею об этом.

Меньше чем через неделю все устроилось. Сол нашел пару коней, повозку и возницу – сговорчивого старика по имени Томек, с ногами колесом и седеющей бородой. Томек работал на него летом и хорошо знал маршрут. Сол сказал, что ему можно доверять и он хорошо управляется с лошадьми. Томеку же Сол пообещал, что тот может оставить себе коней и повозку, если доставит Беллу во Львов целой и невредимой. У старика не было работы, и он ухватился за предложение.

– Надень вещи, которые хочешь взять с собой, – сказал Сол. – Так будет менее приметно.

Перемещение гражданских лиц по бывшей территории Польши еще разрешалось, но нацисты каждый день издавали новые ограничения.

Белла сразу же написала Якову о своих планах и на следующий день уехала, надев две пары шелковых чулок, темно-синюю юбку-годе до колен (любимую юбку Якова), четыре хлопковые блузки, шерстяной свитер, желтый шелковый шарф (подарок от Анны на день рождения), фланелевое пальто и золотую брошку, которую повесила на цепочке на шею и спрятала под блузки, чтобы не увидели немцы. Она сунула в карман пальто маленький швейный набор, расческу и семейное фото вместе с сорока злотыми, взять которые настоял Сол. Вместо чемодана она несла зимнее пальто Якова и буханку крестьянского хлеба без мякиша, в которой был спрятан принадлежавший Якову фотоаппарат «Роллейфлекс».

Выехав из Радома, они миновали четыре немецких пропускных пункта, и каждый раз Белла засовывала хлеб под пальто и притворялась беременной.

– Пожалуйста, – умоляла она, положив одну руку на живот, а второй держась за поясницу, – я должна приехать к мужу во Львов до того, как родится ребенок.

До сих пор солдаты вермахта жалели ее и пропускали повозку.

Голова Беллы тихо покачивается на лавке. Они тащатся на восток одиннадцать дней. У них нет радио, а потому и доступа к новостям, но они привыкли к грозному рычанию самолетов люфтваффе, далеким хлопкам взрывов, предположительно во Львове. Несколько дней назад звуки были такими, словно город находился в осаде. Однако последовавшая затем тишина больше сбивала с толку. Город пал? Или полякам удалось отогнать немцев?

Белла постоянно думает, цел ли Яков. Ведь его наверняка послали защищать город. Дважды Томек спрашивал Беллу, не хочет ли она повернуть назад и попытаться поехать в другое время. Но Белла настаивала, чтобы они продолжали путь. Она написала Якову, что едет. И должна сдержать обещание. Отказаться сейчас, несмотря на неизвестность впереди, казалось ей трусостью.

– Тпру, – кричит Томек с козел, и его голос сразу же заглушают крики.

– Halt! Halt sofort!²³

Белла садится и опускает ноги на пол. Засунув хлеб под пальто, она отодвигает брезентовый клапан повозки в сторону. Снаружи заболоченный луг кишит мужчинами в зеленых мундирах, перетянутых ремнями. Вермахт. Солдаты повсюду. Это не пропускной пункт, понимает

²³ Стоять! Стоять немедленно! (нем.)

Белла. Должно быть, это немецкий фронт. По позвоночнику ползет холодок, когда к ним приближаются трое солдат с суровыми лицами, в серых фуражках и с карабинами в руках. Все в них: напряженные лица, твердая поступь, тщательно отутюженная форма, – неумолимо.

Белла вылезает из повозки и ждет, приказывая себе сохранять спокойствие.

Идущий первым солдат сжимает ружье в одной руке, а другой тыкает в их сторону.

– Ausweis! – приказывает он и поворачивает руку ладонью вверх. – Papiere!²⁴

Белла холодеет. Она почти не знает немецкого.

– Белла, ваши документы, – шепчет Томек.

Второй солдат подходит к козлам, и Томек передает ему свои документы, оглядываясь через плечо на Беллу. Она медлит, потому что в ее удостоверении недвусмысленно указано, что она еврейка, – а это принесет ей, скорее, больше вреда, чем пользы, – но выбора нет. Она протягивает удостоверение и, затаив дыхание, ждет, пока солдат внимательно его рассматривает. Она не знает, куда смотреть, глаза перебегают со знаков различия на воротнике на шесть черных пуговиц на мундире, затем на выбитые на пряжке слова «Gott mit uns». Их она понимает: с нами Бог.

Наконец солдат поднимает глаза, серые и безжалостные, как облака над головой, и поджимает губы.

– Keine Zivilisten von diesem Punkt!²⁵ – рявкает он, возвращая ей удостоверение.

Что-то про гражданских. Томек убирает свои документы в карман и берет поводья.

– Подождите! – выдыхает Белла, положив ладонь на живот, но первый солдат взводит курок и указывает подбородком на запад, откуда они приехали.

– Keine Zivilisten! Nach Hause gehen!²⁶

Когда Белла открывает рот, чтобы возразить, Томек едва заметно качает головой. «Не надо». Он прав. Поверят они в ее беременность или нет, эти солдаты не станут нарушать правила. Белла разворачивается и, опустошенная, забирается обратно в повозку.

Томек разворачивает коней, и они возвращаются по своим следам на запад, прочь от Львова, прочь от Якова. Голова у Беллы идет кругом. Она не находит себе места, слишком раздосадованная, чтобы оставаться спокойной. Вытащив хлеб из-под пальто, она садится на лавку, подползает к заднему клапану и выглядывает через щель наружу. Мужчины на лугу кажутся маленькими, как игрушечные солдатики, особенно по сравнению с нависающими сверху огромными тучами. Белла отпускает тяжелый брезент и снова погружается в полутьму.

Они уже столько проехали. Они так близко! Белла прижимает пальцы к вискам в поисках решения. Можно вернуться на следующий день и попытать удачу с менее строгими немцами. Нет. Она качает головой. Они на фронте. Каковы шансы, что им разрешат проехать? Внезапно почувствовав приступ клаустрофобии, она стягивает фланелевое пальто и передвигается по лавке к переднему клапану, где еще один брезентовый клапан отгораживает ее от Томека. Подняв его, Белла, шуря глазами, смотрит на козлы. Начинает моросить.

– Мы можем попробовать завтра? – перекрикивает она глухой стук копыт по размытой дороге.

Томек качает головой:

– Не получится.

Белла, чувствует, как по шее к ушам поднимается жар.

– Но мы не можем вернуться! – она смотрит на коробку с продуктами у своих ног. – Нам не хватит еды еще на одиннадцать дней!

²⁴ Удостоверение! Документы! (нем.)

²⁵ Гражданским сюда нельзя! (нем.)

²⁶ Никаких гражданских! Идите домой! (нем.)

Плечи Томека покачиваются вперед-назад вместе с повозкой, его голова мотается, как будто он пьян. Он не отвечает.

Белла закрывает клапан и плюхается на лавку. После отъезда из Радома они с Томеком почти не разговаривали. В начале путешествия Белла пыталась завести беседу, но ей было странно разговаривать с едва знакомым человеком, и, кроме того, ей было нечего сказать. Наверняка Томек хочет добраться до Львова так же сильно, как и она. Он всего в нескольких километрах от обещанной Солом награды. Белла решает, что напомним ему об этом, но когда снова тянется к клапану, кони резко сворачивают с дороги. Вцепившись в лавку, Белла старается удержаться, пока повозка подпрыгивает и трясется на неровной поверхности. «Что происходит? Куда мы едем?» Ветки трещат под колесами, словно петарды, и царапают крышу повозки сверху. Должно быть, они в лесу. Мысли Беллы принимают мрачное направление: «Томек же не бросит ее здесь, одну в лесу?» Достаточно просто солгать Солу, что он без происшествий доставил ее во Львов. Сердце Беллы срывается в галоп. Нет, решает она. Томек не посмеет. Но по мере того как повозка, шатаясь, едет дальше, ее одолевают сомнения. Или посмеет?

Наконец кони постепенно останавливаются, и Белла быстро выбирается из повозки. Небо потемнело на несколько оттенков, скоро оно станет одного цвета с гладкими черными шкурами коней. Томек слезает с козел. В своей черной шляпе и темном плаще он почти не различим в тенях. Белла смотрит на него, сердце все еще колотится, а он начинает распрягать коней.

– Извините за молчание, – говорит он, вынимая удила из конских ртов. – Никогда не знаешь, кто может подслушивать.

Белла кивает и ждет продолжения.

– Мы в трех километрах от объездной дороги, которая ведет во Львов. Впереди есть поляна. Луг. Думаю, там никого нет, но на всякий случай вам придется ползти. Трава достаточно высокая, чтобы скрыть вас из виду.

Белла, прищурившись, смотрит в сторону поляны, но ничего не видит – слишком темно. Томек кивает, словно убеждая самого себя, что план сработает.

– Когда пересечете луг, надо будет примерно час идти через лес на юго-восток, и вы выйдете на дорогу. К тому времени вы должны обогнуть фронт... – он замолкает. – Если только немцы не окружили город... в таком случае вам придется ждать, пока они продвинутся вперед, или пересекать линию фронта самой. Так или иначе, – говорит он, наконец глядя ей в глаза, – думаю, вам будет лучше без меня.

Белла таращится на Томека, переваривая его план. Путешествовать одной и пешком – звучит дико. Безумие даже рассматривать такую возможность. Она представляет, как объясняет эту идею Якову или его отцу. Их ответы звучали бы одинаково: «Не делай этого».

– Или же мы разворачиваемся и возвращаемся как можно скорее, а еду ищем по дороге, – тихо говорит Томек.

Вернуться домой безопаснее, но Белла знает, что не сможет. Мысли мечутся в голове. Она пытается сглотнуть, но горло похоже на наждачную бумагу, и получается кашель. Томек прав. Без повозки она будет вызывать меньше подозрений. И если она наткнется на немцев, они скорее отпустят ее одну, чем старика, молодую женщину и повозку с двумя конями. Она закусывает уголок нижней губы и минуту молчит.

– Так, – наконец говорит она, глядя в сторону поляны.

Да, решает она. Какой у нее выбор? Она всего в нескольких часах от Львова. От Якова. Своего ukochany²⁷, своего любимого. Она не может повернуть назад. Белла опирается на повозку, руки-ноги вдруг тяжелеют под грузом ее решения. Если луг патрулируют военные, вряд ли она пересечет его незамеченной. И если она все-таки доберется до противоположного

²⁷ Возлюбленный (польск.)

края... невозможно сказать, кто или что может скрываться под пологом леса. «Довольно, – мысленно ворчит она. – Ты уже так близко. Ты сможешь».

– Так, – выдыхает она, кивая. – Да, должно получиться. Должно сработать.

– Тогда хорошо, – тихо говорит Томек.

– Хорошо. – Белла проводит по своим темно-рыжим волосам, которые после стольких дней без мытья стали похожи на шерсть; она уже оставила попытки их расчесать. – Я пошла.

– Лучше идти утром, – говорит Томек, – когда не так темно. Я побуду с вами до рассвета.

Конечно. Ей понадобится свет, чтобы найти дорогу.

– Спасибо вам, – шепчет Белла, понимая, что Томеку тоже предстоит опасное путешествие.

Она забирается в повозку и шарит в коробке с едой в поисках последнего яйца. Чистит найденное яйцо и возвращается к Томеку.

– Берите, – говорит она, разламывая яйцо пополам.

Помедлив, Томек берет половинку.

– Спасибо.

– Скажите пану Курцу, что вы сделали все возможное, чтобы доставить меня во Львов.

Если... – она выпрямляется. – Когда я доберусь, то напишу ему, что я в безопасности.

– Я передам.

Белла кивает, и оба замолкают. Она размышляет, на что только что согласилась. Вдруг Томек проснется и одумается, осознав, что план слишком рискованный? Попытается ли он отговорить ее утром?

– Отдохните пока, – предлагает Томек, возвращаясь к коням.

Белла выдавливает улыбку.

– Попробую.

Но перед тем как залезть в повозку, останавливается.

– Томек, – окликает она, чувствуя себя виноватой за то, что сомневалась в его намерениях. Томек поднимает глаза. – Спасибо вам... за то, что довезли нас так далеко.

Томек кивает.

– Спокойной ночи, – говорит Белла.

Внутри повозки она расстилает на полу пальто Якова и вытягивается на нем, лежа на спине. Одну ладонь она кладет на сердце, вторую на живот и делает медленные вдохи и выдохи, заставляя себя расслабиться. «Это верное решение», – говорит она себе, моргая в темноте.

Следующим утром Белла просыпается на рассвете после неглубоко беспокойного сна. Потирая глаза, она нащупывает брезентовый клапан. Снаружи сквозь тучи пробиваются несколько солнечных лучей, едва освещая просветы между ветвями деревьев над головой. Томек уже сложил свою палатку и матрас и запряг коней. Он кивает ей и возвращается к своему занятию. Судя по всему, он не передумал. Белла сует в карман вареную картошку, оставив три для Томека. Она застегивает свое пальто, сверху надевает пальто Якова, берет хлеб и выбирается из повозки. Каким бы трудным ни было предстоящее путешествие, она не прочь оставить позади тесный, пораженный плесенью закуток, который почти две недели называла домом.

Томек чинит уздечку одного из коней. Белле хотелось бы знать его достаточно хорошо, чтобы обняться на прощание – какое-никакое объятие придало бы ей сил, наполнило храбростью, необходимой, чтобы осуществить план. Но она не знает. Она вообще едва его знает.

– Я хочу сказать, как сильно ценю то, что вы для меня сделали, – говорит она, протягивая руку. Ей вдруг очень важно признать скромную, но неизмеримо важную роль, которую Томек сыграл в ее жизни. Он пожимает ее руку. Его хватка на удивление сильная. Кони рядом с ними начинают волноваться. Один трясет головой, звеня поводьями; второй фыркает и бьет копытом. Они тоже готовы закончить путешествие.

– Ой, Томек, чуть не забыла, – добавляет Белла, доставая из кармана купюру в десять золотых. – Вам понадобится еда, пара картофелин не в счет. – Она протягивает ему деньги. – Возьмите. Прошу.

Томек опускает глаза, потом поднимает их на Беллу, берет деньги.

– Удачи вам, – желает Белла.

– И вам. Да хранит вас Господь.

Белла кивает, разворачивается и идет под деревьями в сторону луга.

Через несколько минут она выходит на край поляны и останавливается, высматривая признаки жизни на открытом пространстве. Насколько ей видно, луг пуст. Она оглядывается через плечо: смотрит ли Томек, но под дубами только тени. Он уже уехал? Белла дрожит, понимая, что осталась совсем одна. «Ты согласилась на это, – напоминает она себе. – Одной тебе будет лучше».

Она поднимает юбку выше колен, завязывает ее узлом на бедре, потом прячет хлеб под пальто Якова и передвигает его за спину. Вот так. Теперь ей будет легче двигаться. Она садится на корточки, затем опирается ладонями на землю и опускается на колени.

Пока она ползет, земля под ней чавкает, холодная грязь просачивается между пальцами, пачкает руки и ноги. Травинки высокие, острые и мокрые от росы, они постоянно лезут в лицо и царапают шею. Через несколько минут одна щека начинает кровить, а сама Белла промокает до нижнего белья. Не обращая внимания на грязь, сырость и боль в щеке, она на мгновение встает на колени, чтобы осмотреть линию деревьев в ста метрах впереди, а затем оглядывается через плечо. «Немцев по-прежнему не видно. Хорошо». Она снова опускается на руки, жалея, что не надела брюки, и понимая, каким бесполезным и тщеславным было ее желание хорошо выглядеть для Якова.

Хлюпая, она ползет по лугу и вспоминает родителей, последний семейный ужин перед отъездом. Мама приготовила вареники с грибами и капустой, ее любимые, и они с папой жадно на них набросились. А вот Густава едва притронулась к своей тарелке. Сердце Беллы сжимается, когда она мысленно видит маму, сидящую над нетронутыми варениками. Она всегда была худенькой, но после прихода немцев стала изможденной. Белла винила в этом переживания из-за войны, но уходить, оставляя мать такой слабой, было больно. Она вспоминает, как на следующий день, залезая в повозку Томека, подняла голову и увидела в окне родителей: отец обнимал одной рукой тонкую фигурку матери, а мама прижимала ладони к стеклу. Белла видела только их силуэты, но по тому, как вздрагивали плечи Густавы, поняла, что та плачет. Ей очень хотелось помахать им, подарить родителям улыбку, говорящую, чтобы они не беспокоились, что все будет хорошо, она обязательно вернется. Но на бульваре Витольда было полно солдат вермахта, она не могла выдать своего отъезда прощанием. Вместо этого она отвернулась, отодвинула брезентовый клапан и залезла в повозку.

Белла ударяется коленкой обо что-то твердое – камень – и морщится. Глубоко дыша, она переживает боль и ползет дальше, осознавая, как быстро развивались события в последние две недели. Отъезд Якова, немецкое вторжение, письмо, договоренность с Томеком. Она была сама не своя, когда покидала Радом, думая только о том, как попасть во Львов к Якову. А как же родители? Справятся ли они одни? Что, если с ними что-то случится, пока ее не будет? Как она им поможет? Что, если с ней что-нибудь случится? Что, если она так и не доберется до Львова? «Стоп, – одергивает она себя. – С тобой все будет хорошо. С родителями все будет хорошо». Она повторяет это снова и снова, пока в мыслях не остается никаких других сценариев.

Пока ползет, Белла прислушивается к звукам опасности, но в ушах грохочет пульс. Она и подумать не могла, что для того, чтобы ползти на четвереньках, требуется столько усилий. Все налилось тяжестью: руки, ноги, голова. Как будто она прикована к земле, прижата весом своих конечностей, бесчисленных слоев одежды, фотоаппарата Якова, мышц, которые крепятся к костям, пота, который покрывает кожу, несмотря на утреннюю прохладу. Суставы болят, все

до одного: тазовые, колени, локти, даже пальцы, – и с каждой минутой все больше коченеют. Проклятая грязь. Остановившись, Белла вытирает лоб тыльной стороной руки и выглядывает из травы: она на полпути к деревьям. Осталось пятьдесят метров. «Ты почти доползла, – говорит она себе, сопротивляясь желанию прилечь на несколько минут. – Сейчас нельзя останавливаться. Отдохнешь, когда доберешься до леса».

Сосредоточившись на дыхании – вдох через нос на два счета, выдох через рот на три, – Белла поглощена исступленным ритмом, когда тишину разбивает резкий хлопок, прокатившийся под утренним небом. Белла быстро падает на живот и прижимается к земле, прикрывая голову руками. Она безошибочно узнает звук. Выстрел. Последуют ли за ним еще? С какой стороны он раздался? Целились в нее? Напрягшись всем телом, она ждет, решая: бежать или прятаться дальше? Интуиция подсказывает ей притвориться мертвой. И она лежит, почти уткнувшись носом в дерн, вдыхая запах страха и влажной земли, считая секунды. Проходит минута, затем вторая, Белла напряженно прислушивается. Луг дурачит ее: это шаги или ветер шуршит травой?

Наконец она не выдерживает и, вжав ладони в грязь, медленно приподнимается. Осматривает горизонт сквозь траву. Насколько она видит, все чисто. Может быть, звук выстрела показался ближе, чем на самом деле? Игнорируя вероятность того, что выстрел раздался с той стороны, куда ей надо, Белла снова ползет, теперь быстрее, мышцы больше не тяжелеют от усталости, их подстегивает ужасающее ощущение срочности.

«Ты сможешь. Осталось немного. Яков, только будь там, когда я приду. По адресу, который ты прислал. Дождись меня, – она повторяет эти слова с каждым вдохом. – Прошу, Яков. Только будь там».

12 сентября 1939 года. Оборона Львова. Битва за контроль над городом начинается со столкновений между польскими и осаждающими их немецкими силами, которые значительно превосходят поляков по численности как пехоты, так и боевой техники. Поляки выдержали почти две недели наземных боев, артобстрелов и бомбардировок люфтваффе.

17 сентября 1939 года. Советский Союз разрывает все договоры с Польшей и вторгается в нее с востока. Красная армия полным ходом продвигается ко Львову. Поляки сопротивляются, но к 19 сентября советские и немецкие войска берут город в кольцо.

Глава 5

Мила

*Радам, Польша
20 сентября 1939 года*

Едва открыв глаза, Мила сразу чувствует: что-то не так. В квартире слишком тихо. Резко вдохнув, она садится. Фелиция. Она выбирается из кровати и босиком пробегает по коридору в детскую.

Дверь беззвучно открывается, и Мила моргает, вглядываясь в темноту, понимая, что забыла посмотреть на часы. Она тихонько подходит к окну и отодвигает плотную штору из дамста, в комнату падает луч мягкого света, в котором пляшут пылинки. Должно быть, сейчас рассвет. За деревянными решетками кровати угадываются очертания комочка. Мила на цыпочках подходит к кровати.

Фелиция лежит на боку, не шевелясь, личико заслоняет розовое одеяльце, накинутое на голову. Мила поднимает маленькое хлопковое одеяло, осторожно кладет ладонь на затылок Фелиции и напряженно ждет дыхания, шороха, чего угодно. И почему, даже когда дочь спит, она беспокоится, что с ней случилось что-то ужасное? Наконец Фелиция вздрагивает, вздыхает и переворачивается на другой бок; через несколько секунд она снова неподвижна. Мила выдыхает и выскальзывает из комнаты, оставив дверь приоткрытой.

Касаясь пальцами стены, она тихонько идет в кухню, бросив взгляд на часы в конце коридора. Без малого шесть утра.

– Дорота? – тихонько зовет Мила.

Чаще всего по утрам она просыпается от свиста чайника, когда Дорота готовит себе чай. Но сейчас еще рано. Дорота, которая на неделе живет в маленькой комнатке рядом с кухней, обычно начинает свой день в половине седьмого. Должно быть, она еще спит.

– Дорота? – снова окликает Мила, понимая, что не хорошо ее будить, но не в состоянии избавиться от чувства, что что-то не так.

Наверное, находит объяснение Мила, ей еще не привычно просыпаться без Селима. Прошло почти две недели с тех пор, как ее мужа вместе с Генеком, Яковом и Адамом отправили во Львов на соединение с польской армией. Селим обещал написать сразу же, как только они придут на место, но письма до сих пор нет.

Мила пристально следит за новостями из Львова. Газеты пишут, что город в осаде. И, как будто мало угрозы от немцев, два дня назад по радио передали сообщения, что Советский Союз присоединился к нацистской Германии. Подписанные с Польшей мирные договоры расторгнуты, и теперь, говорят, Красная армия Сталина наступает на Львов с востока. Без сомнений, скоро поляки будут вынуждены сдаться. Втайне Мила надеется на это: может быть, тогда ее муж вернется домой.

После отъезда Селима из Радома Мила отказывалась спать, потому что, заснув, просыпалась в холодном поту, дрожа от страха, уверенная в том, что ее кровавые кошмары реальны. В одну ночь это был Селим, в другую – один из ее братьев. Мертвые тела, пропитанная кровью форма. Мила находилась на грани срыва, и именно Дорота, чьего сына тоже призвали, спасла ее от дальнейшего падения в бездну.

– Нельзя так думать, – упрекнула она, когда Мила ковыряла свой завтрак после очередной беспокойной ночи. – Твой муж врач, его не пошлют на фронт. А твои братья умные. Они присмотрят друг за другом. Думай о хорошем. Ради себя. И ради нее, – кивнула она в сторону детской.

– Дорота? – зовет Мила в третий раз, включая в кухне свет. На плите стоит холодный чайник. Мила тихонько стучит в дверь Дороты. Но на стук никто не отвечает. Мила дергает за ручку и, приоткрыв дверь, заглядывает внутрь.

Комната пуста. Постельное белье и одеяло сложены аккуратной стопкой в ногах кровати. Из противоположной стены торчит одинокий гвоздь, на котором висело распятие, а маленькие полки, повешенные Селимом, пусты. Только на одной – сложенный треугольником листок бумаги. Мила опирается рукой о косяк, у нее вдруг слабеют ноги. Через минуту она заставляет себя взять записку и развернуть. Дорота оставила всего два слова: «Przykro mi». Прости меня.

Мила закрывает рот ладонью.

– Что ты наделала? – шепчет она, словно Дорота стоит рядом, в своем заляпанном едой переднике, с убранными в тугой пучок тронутыми сединой волосами.

Мила слышала разговоры об увольнении среди прислуги: некоторые бежали из страны до того, как она оказалась в руках немцев, а некоторые уходили просто потому, что семьи, в которых они работали, были евреями. Но она даже не рассматривала возможность, что Дорота ее бросит. Селим хорошо ей платил, и она казалась искренне довольной своей работой. Они ни разу не сказали друг другу плохого слова. И она обожает Фелицию. Но еще важнее то, что за прошедшие десять месяцев, пока Мила пыталась справиться с новым для нее материнством, Дорота стала для нее не только служанкой, она стала наперсницей, другом.

Мила медленно садится на кровать, матрас Дороты стонет под ней. «Но что же я буду делать без тебя?» – думает она. Глаза медленно наполняются слезами. Рядом в состоянии хаоса, сейчас ей как никогда нужен союзник. Мила опирается ладонями о колени и опускает голову, чувствуя, как от тяжести головы тянет мышцы между лопатками. Сначала Селим, братья, Адам, а теперь Дорота. Ушли. Где-то глубоко прорастает зернышко паники, и пульс Милы учащается. Как она прокормится в одиночку? Солдаты вермахта показали себя извергами, и непохоже, чтобы они собирались уходить в ближайшее время. Они осквернили прекрасную кирпичную синагогу на Подвальной улице, ограбили ее и переделали в конюшни; они закрыли все еврейские школы; они заморозили банковские счета евреев и запретили полякам вести с ними дела. Каждый день бойкотируют еще один магазин: сначала это была булочная Фридмана, потом магазин игрушек Бергмана, потом ремонт обуви Фогельмана. Куда ни посмотри, повсюду висят красные флаги со свастикой, расклеены плакаты «Иудаизм – преступление» с отвратительными карикатурами, изображающими крючконосых евреев, на окнах надписи Jude, как будто еврейство – это какое-то проклятье, а не часть личности человека. Часть ее личности. Раньше она назвала бы себя матерью, женой, одаренной пианисткой. А теперь она просто-напросто еврейка. Она больше не может пойти куда-то не став свидетельницей, как кого-то травят на улице или выволакивают из домов, грабят и избивают ни за что. Все, что она считала само собой разумеющимся, например прогулки в парке с Фелицией – да и просто выйти из квартиры, – теперь небезопасно. В последнее время именно Дорота покупала продукты, забирала почту в отделении, носила записки ее родителям на Варшавскую улицу и обратно.

Мила таращится в пол, слушая тихое тиканье часов в коридоре, звук уходящих секунд. Через три дня Йом-Киппур²⁸. Хотя это не имеет значения: немцы разбросали по городу листовки с распоряжением, что евреям запрещено совершать обряды. То же самое они сделали и в Рош ха-Шана, однако Мила нарушила запрет и после наступления темноты пробралась к родителям. Позже она пожалела об этом, когда услышала рассказы о других, совершивших то же самое и попавшихся. Одного мужчину, ровесника ее отца, заставили бежать по центру города, держа над головой тяжелый камень; другим приказали тащить металлические каркасы кроватей из одного конца города в другой, а по дороге били метровыми дубинками; одного

²⁸ Йом-Киппур – в иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов.

юношу затоптали. Мила решает, что на этот Йом-Киппур они с Фелицией будут поститься у себя дома, одни.

«Что же теперь будет?» По щекам текут слезы. Она тихо всхлипывает, не в силах вытереть глаза и нос. Мила обводит комнату взглядом, она знает, что должна быть в ярости – Дорота ее бросила. Но она не злится. Она в ужасе. Она потеряла единственного человека под своей крышей, которому могла доверять и на которого могла полагаться. Человека, который, похоже, лучше нее понимал, как заботиться о ее ребенке. Мила жалеет, что не может спросить у Селима, что делать. В конце концов, это Селим настоял, чтобы они наняли Дороту, когда Фелиция только родилась и Мила сходила с ума. И теперь Мила снова в кризисе, но без твердой руки мужа, чтобы направлять ее. Реальность ситуации обрушивается на нее, и Милу бросает в дрожь: ее безопасность, а вместе с ней и безопасность Фелиции, теперь полностью в ее руках.

К горлу подступает тошнота, Мила чувствует ее вкус, резкий и едкий. Желудок скручивает спазмом, когда перед глазами мелькает несколько картин. Первая – фотография, которую она видела в «Трибьюн» вскоре после захвата Чехословакии: рыдающая моравская женщина покорно вскидывает руку в нацистском приветствии; вторая – сцена из ее кошмаров: военный в зеленой форме вырывает Фелицию у нее из рук. «О, Боже милостивый, прошу, не дай им забрать ее у меня». Милу тошнит. Рвота с влажным звуком приземляется на линолеум между ее ступнями. Зажмурив глаза, она кашляет, борясь с новым приступом тошноты, а заодно и сожаления. «И о чем ты только думала, когда торопилась создать семью?» Когда она забеременела, они с Селимом были женаты меньше трех месяцев. Тогда она была уверена, что больше всего на свете хочет ребенка. Много детей. Целый оркестр детей, бывало, шутила она. Но Фелиция оказалась таким беспокойным младенцем, и материнство отнимало больше сил, чем она ожидала. А теперь война. Если бы она знала, что еще до первого дня рождения Фелиции Польша может прекратить свое существование... Милу снова рвет, и в этот ужасный, неприятный момент она понимает, что делать. Когда Селим уехал во Львов, родители уговаривали ее переехать обратно на Варшавскую улицу. Но Мила предпочла остаться. Теперь эта квартира была ее домом. И кроме того, она не хотела быть обузой. Она сказала, что война скоро закончится. Селим вернется, и они начнут с того места, где остановились. Они с Фелицией справятся сами, и, кроме того, у нее есть Дорота. Но теперь...

Тишину нарушает плач Фелиции, и Мила вздрагивает. Вытерев рот рукавом халата, она сует записку Дороты в карман и встает, придерживаясь за стену, когда комната начинает кружиться. «Дыши, Мила». Она решает, что уберет позже, и осторожно перешагивает через лужу на полу. В кухне она прополаскивает рот и брызгает на лицо холодной водой.

– Иду, любимая! – кричит она, когда Фелиция снова плачет.

Фелиция стоит в кроватке, крепко держась за перекладину обеими ручками, одеяло валяется на полу. Увидев мать, она радостно улыбается, показывая четыре крохотных прорезавшихся зуба – по два на верхней и нижней десне.

Плечи Милы расслабляются.

– Доброе утро, сладкая девочка, – шепчет она, подавая Фелиции ее одеяльце и вынимая ее из кроватки.

Два месяца назад, когда Мила перестала кормить ее грудью, Фелиция начала спать всю ночь. Получив дополнительный отдых, мать и дочь преодолели кризис; Фелиция стала более счастливым ребенком, а Миле больше не казалось, что она на грани нервного срыва. Фелиция обнимает маму за шею, и Мила наслаждается тяжестью дочкиной щеки и теплом у своей груди. «Вот о чем я думала, – напоминает она себе. – Об этом».

– Я держу тебя, – шепчет она, придерживая ладонью спинку Фелиции.

Подняв голову, Фелиция поворачивается к окну и показывает маленьким пальчиком.

– Э? – тянет она; такой звук она издает, когда ее что-то заинтересовало.

Мила следит за ее взглядом.

– Там, – говорит она. – На улице?

– Та, – повторяет за ней Фелиция.

Мила подходит к окну, чтобы начать свою обычную игру – показывать все, что видит: четыре крапчатых голубя на дымоходе, матово-белый шар уличного фонаря, три каменных арки подъездов через дорогу, а над ними три больших балкона с коваными решетками, две лошади, запряженные в коляску. Мила игнорирует свисающий из открытого окна флаг со свастикой, разрисованные витрины, свежую табличку с названием улицы (теперь они живут не на улице Жеромского, а на Рейхштрассе). Фелиция смотрит, как внизу бредут лошади. Мила целует ее в лоб, и пушок цвета корицы на головке дочери щекочет ей нос.

– Папа, наверное, сильно скучает по тебе, – шепчет она, думая о том, как Селим может заставить Фелицию смеяться, уткнувшись носом в ее животик и притворно чихая. – Скоро он к нам вернется. А пока мы с тобой вдвоем, – добавляет она, перебарывая значительность этих слов и стараясь игнорировать привкус рвоты, все еще царапающий горло.

Фелиция смотрит на нее широко раскрытыми глазками, словно понимая, потом накрывает ушко одеяльцем и опять прижимается щекой к материнской груди.

Мила решает, что позже уложит кое-какую одежду, зубную щетку, одеяльце Фелиции и стопку подгузников и пойдет к родителям на Варшавскую улицу, что в шести кварталах от ее дома. Пора.

Глава 6

Адди

*Тулуза, Франция
21 сентября 1939 года*

Адди сидит в кафе, выходящем на огромную площадь Капитоль, перед ним лежит открытая нотная тетрадь на спирали. Он кладет карандаш на стол и разминает сведенную спазмом мышцу между большим и указательным пальцем.

У него вошло в привычку проводить выходные, сочиняя музыку за столиком кафе. Больше никаких поездок в Париж: ему казалось слишком легкомысленным окунаться в шумное веселье ночной жизни Монмартра, когда родина ведет войну. Вместо этого он посвящает себя своей музыке и еженедельным походам в польское консульство в Тулузе, где он уже несколько месяцев пытается получить въездную визу – документ, необходимый для возвращения в Польшу. Пока что все его усилия раздражающе безрезультатны. В первый его визит в марте, за три недели до Песаха, чиновнику хватило одного взгляда на паспорт Адди, чтобы покачать головой, подвинув к нему карту и показав на страны, отделяющие Адди от Польши: Германия, Австрия, Чехословакия.

– Вы не пройдете дальше пропускных пунктов, – сказал он, постучав пальцем по строчке в паспорте Адди, где было указано вероисповедание.

«Zyd», гласила строка, сокращение от Zydowski. Еврей. Мама была права, понял Адди, злясь на себя за то, что сомневался в ней. Путешествие через границу Германии было для него не только опасным, но и, очевидно, незаконным. И все же Адди раз за разом возвращался в консульство, надеясь убедить сотрудника дать ему некоторое послабление, извести его настойчивостью. Но каждый раз ему говорили одно и то же. Невозможно. Поэтому впервые за двадцать пять лет жизни он пропустил Песах в Радоме. Рош ха-Шана наступила и прошла точно так же.

Когда он не на работе, не сочиняет музыку и не надоедает секретарям консульства, Адди изучает заголовки «Дипеш де Тулуз». С каждым днем война набирает обороты и его тревога возрастает. Сегодня утром он прочитал, что советская Красная армия вторглась в Польшу с востока и попыталась захватить Львов. Мама писала, что его братья во Львове, их призвали в армию вместе с остальными молодыми мужчинами Радома. Похоже, город капитулирует в любой день. Польша капитулирует. Что станет с Генеком и Яковом? С Адамом и Селимом? Что станет с Польшей?

Адди увяз. Его жизнь, его решения, его будущее – он ничего не контролирует. Он не привык к таким ощущениям и ненавидит их. Ненавидит, что нет способов попасть домой, нет способов связаться с братьями. Слава Богу, он хотя бы переписывается с мамой. Они часто пишут друг другу. В последнем письме, отправленном через несколько дней после захвата Радома, она описывала горькое прощание с Генеком и Яковом в ночь, когда они уезжали во Львов, как больно было видеть расставание Халины и Милы с Адамом и Селимом и каково было смотреть, как немцы входят в Радом. Город заняли за несколько часов, писала она. «Солдаты вермахта повсюду».

Адди перелистывает ноты, просматривая свою работу, благодарный музыке за возможность отвлечься. По крайней мере она принадлежит ему. Никто не сможет отнять этого у него. С начала войны в Польше он пишет упорно и почти закончил новое произведение для фортепиано, кларнета и контрабаса. Закрыв глаза, он барабанит пальцами по бедру, проигрывая аккорд на воображаемой клавиатуре и решая, обладает ли он потенциалом. Одно из его произведений

уже имело коммерческий успех – песня, исполненная талантливой певицей Верой Гран²⁹, о том, как юноша пишет своей возлюбленной. «List»³⁰. Письмо. Адди сочинил «Письмо» перед отъездом из Польши в университет и никогда не забудет чувств, которые испытал, впервые услышав песню по радио. Закрыв глаза, он слушал, как созданная им мелодия льется из динамиков приемника, и грудь раздувалась от гордости, когда после песни объявили имя композитора – его имя. Может быть, фантазировал он тогда, со временем «Письмо» принесет ему признание в музыкальном мире.

«Письмо» стало хитом в Польше, настолько популярным, что Адди стал в Радоме кем-то вроде знаменитости, что, конечно, вызвало бесконечное поддразнивание братьев.

– Братец, пожалуйста, дай автограф! – просил Генек, когда Адди приезжал домой.

В то время Адди был не против внимания, а кроме того, в подначиваниях красивого старшего брата он чувствовал намек на зависть. Несомненно, родные были счастливы за него. И гордились им; они видели, как он сочинял музыку с тех пор, когда его ноги едва доставали до педалей родительского рояля. Они понимали, как много значит для него этот первый успех. Адди знал, что брат втайне завидовал его жизни в большом городе. Генек приезжал в Тулузу, один раз встречался с Адди в Париже и каждый раз, уезжая, ворчал, насколько гламурной выглядела жизнь Адди во Франции по сравнению с его собственной. Теперь, конечно, все по-другому. Нет ничего гламурного в жизни в провинции, где Адди фактически заточен. Даже несмотря на то, что его дом заполонили немцы, он сделает все что угодно, чтобы вернуться.

На улице последние лучи солнца бросают розовый отсвет на мраморные колонны Капитолия. Стая голубей срывается с места, испугавшись пожилой женщины, которая идет к крытым аркадам на западной стороне, и Адди вспоминает вечер прошлого лета, когда они с друзьями сидели на закате в кафе на похожей площади на Монмартре, потягивая семильон. Адди возвращается мыслями к разговору, вспоминает, как его друзья закатывали глаза, когда речь зашла о войне. Гитлер – фигляр, говорили они.

– Все эти разговоры о войне просто пустяки, сотрясение воздуха. Из этого ничего не выйдет. *Le dictateur déteste le jazz!*³¹ – заявил один из друзей. – Он ненавидит джаз еще больше, чем евреев! Только представьте, как он ходит по площади Клиши, заткнув уши руками.

Сидевшие за столом разразились смехом. Адди смеялся вместе со всеми.

Взяв карандаш, он возвращается к нотному блокноту. Он сочиняет мелодическую фразу, затем следующую, записывая быстро, заставляя карандаш успевать за музыкой в своей голове. Проходит два часа. Столики вокруг начинают заполнять мужчины и женщины, пришедшие поужинать, но Адди едва замечает их. Когда он наконец поднимает голову, небо потемнело до глубокого фиолетово-голубого цвета. Становится поздно. Адди оплачивает счет, зажимает блокнот под мышкой и идет через площадь к своей квартире на рю Ремюза. Он входит во дворик своего дома, открывает почтовый ящик и быстро просматривает небольшую стопку писем. Из дома ничего. Разочарованный, он поднимается на четыре лестничных пролета, вешает берет, снимает ботинки и аккуратно ставит их на соломенный коврик возле двери. Он бросает почту на стол, включает радио, наливает воду в чайник и ставит его на плиту.

Его квартира маленькая и чистая, всего с двумя комнатами: крохотной спальней и кухней, в которой поместился только круглый столик на одной ножке, – но она его устраивает. Он единственный из своих братьев и сестер до сих пор одинок, несмотря на мамины усилия. Открыв холодильник, он просматривает его содержимое: унция мягкого камамбера, пол-литра козьего молока, два яйца в крапинку, красное яблоко (похожие мама нарезала и поливала

²⁹ Вера Гран, настоящее имя Вероника Гринберг (1916–2007) – польская певица еврейского происхождения, актриса кабаре и кино.

³⁰ Письмо, послание (польск.)

³¹ Диктатор ненавидит джаз! (фр.)

медом, когда он был маленьким, и с тех пор Адди любит, чтобы дома всегда было хотя бы одно), обернутый в пергамент кусок вареного говяжьего языка, половинка плитки темного швейцарского шоколада. Он берет шоколад. Аккуратно, чтобы не порвать, открывает серебристую фольгу и отламывает квадратик горько-сладкого шоколада, дав ему растаять во рту.

– Merci, la Suisse³², – шепчет он, садясь за стол.

Наверху почтовой стопки лежит последний выпуск «Джаз Хот». Адди просматривает заголовки. Один из них гласит: «Творческое сотрудничество Стрейхорна и Эллингтона». Два его любимых джазовых композитора. Он делает мысленную заметку следить за их работой. Под «Джаз Хот» лежит бледно-голубой листок, который он не заметил раньше. Когда он его видит, сердце пропускает удар, и остатки шоколада на языке вдруг приобретают резкий привкус. Адди берет листок, переворачивает его. Сверху напечатаны три слова: «Commande de Conscription». Это повестка о призыве в армию.

Адди дважды читает текст. Ему приказано присоединиться к польской дивизии французской армии. Он должен незамедлительно явиться в больницу Ла Грав для медосмотра и оформления документов; его служба начнется 6 ноября в Партене. Адди кладет повестку на стол и долго смотрит на нее. Армия. Подумать только, еще сегодня утром он горевал о братьях, представлял их в военной форме, с ужасом думая об их судьбе. И вот, его положение не отличается от их.

В ушах звенит, и ему требуется несколько мгновений, чтобы понять, что это закипела вода в чайнике. Проведя рукой по волосам, он встает выключить горелку. Свист чайника затихает, и Адди пораженно думает, насколько быстро все может измениться в его новой реальности. Как в одно мгновение его будущее решают за него. Взяв повестку со стола, он подходит к кухонному окну, выходящему на угол площади Капитоль, и прижимается лбом к стеклу. В динамиках тихо поет кларнет Сиднея Беше, но Адди его не слышит. Армия. Нескольких его друзей призвали, но все они французы. Он надеялся, что как иностранец не подлежит призыву. Вероятно, этого можно избежать, думает он. Но мелкий шрифт внизу страницы утверждает обратное. «Неявка повлечет за собой арест и заключение в тюрьму». Merde³³. Он здоров. Призывного возраста. Нет, выхода нет. Merde. Merde. Merde.

Внизу выложенный на мостовой окситанский крест Моретти отражает свет уличных фонарей, словно гигантская гранитная татуировка. В небе поднимается половинка луны. Как такое возможно, удивляется Адди: вокруг такая безмятежность, а за границей идет война. Где сейчас Генек и Яков? Ожидают приказа? Или сражаются в этот самый миг? Адди поднимает глаза к небу, представляя своих братьев плечом к плечу в окопе, они не замечают восходящую луну, думая только о свистящих над головой снарядах.

Глаза Адди наполняются слезами. Он достает из кармана брюк носовой платок, мамин подарок. Она подарила его год назад, когда он в последний раз был дома на Рош ха-Шану. Сказала, что нашла эту ткань во время одной из своих поездок в Милан – мягкое белое полотно, на котором сама вышила кайму и его инициалы в углу. ААИК. Адди Авраам Израэль Курц.

– Красивый, – сказал Адди, когда мама вручила ему платок.

– О, это пустяк, – ответила Нехума, но Адди знал, как она старалась и как гордилась своей работой.

Он проводит подушечкой большого пальца по вышивке, представляя маму за работой в задней комнате магазина, перед ней лежит рулон ткани, сбоку сантиметр, ножницы и красная шелковая подушечка для булавок. Он видит, как она отмеряет нить, крутит кончик между пальцами и подносит к губам, чтобы намочить, прежде чем вставить в невероятно маленькое игольное ушко.

³² Спасибо, Швейцария (фр.)

³³ Дерьмо (фр.)

Адди глубоко дышит, чувствуя, как поднимается и опускается грудная клетка. «Все будет хорошо», – говорит он себе. Гитлера остановят. Франция еще не участвовала в боях; кто знает, может быть, война закончится до того, как это случится. Может быть, его тулузские друзья, которые называют ее «drôle de guerre» – странной войной – правы, и только вопрос времени, когда он сможет вернуться в Польшу, к своей семье, к жизни, которую оставил позади, когда переехал во Францию. Адди думает о том, что, если бы год назад ему предложили работу в Нью-Йорке, он воспользовался бы возможностью. Теперь, конечно, он сделает что угодно – все – чтобы просто вернуться домой, сидеть за маминым обеденным столом в окружении родителей, братьев и сестер. Он убирает платок обратно в карман. Дом. Семья. Нет ничего важнее. Теперь он это знает.

22 сентября 1939 года. Львов сдается советской Красной армии.

27 сентября 1939 года. Польша капитулирует. Гитлер и Сталин сразу же делят страну: Германия оккупирует западную часть (включая Радом, Варшаву, Краков, Люблин), а Советский Союз – восточную (включая Львов, Пинск, Вильно).

Глава 7

Яков и Белла

*Львов, оккупированная Советами часть Польши
30 сентября 1939 года*

Белла проверяет латунный номер на красной двери.

– Тридцать два, – шепчет она себе под нос, дважды сверившись с адресом, нацарапанным почерком Якова на письме, которое захватила из Радома: «Улица Калинина, 19, квартира 32».

На шее у нее висит фотокамера Якова, через руку переброшено его пальто, сложенное так, чтобы скрыть слои грязи, налипшие по пути. Никогда в жизни Белла не была такой грязной. Она сняла пару драных чулок, ругаясь из-за потери, и изо всех сил потопала ногами, чтобы стряхнуть грязь с подошв. Облизав большой палец, она вытерла щеки, но без зеркала все ее усилия тщетны. Волосы стали похожи на колючий кустарник, а под слоями одежды она до сих пор мокрая. Когда она поднимает руки, запах отвратительный. Ей очень нужно помыться! Должно быть, выглядит она ужасно. «Неважно. Ты здесь. Ты дошла. Просто постучи».

Ее кулак замирает в нескольких сантиметрах от двери. Белла медленно набирает в грудь побольше воздуха, облизывает губы и тихонько стучит в дверь, наклонившись вперед, прислушиваясь. Ничего. Она стучит еще, на этот раз сильнее. Она уже готова постучать в третий раз, когда слышит приглушенные шаги. Сердце стучит в унисон с этими приближающимися шагами, и на какое-то мгновение Белла поддается панике. Что, если, проделав такой путь, она встретит не Якова, а незнакомца?

– Кто там?

С губ срывается резкий выдох – смех, впервые за эти недели, – и Белла понимает, что все это время не дышала. Это он.

– Яков! Яков, это я! – говорит она двери, поднимаясь на цыпочки, вдруг ощущая себя легкой как перышко.

Не успевает она добавить: «Это Белла», как раздается металлический щелчок засова и дверь рывком распахивается, затягивая воздух. И вот он, ее любовь, ее *ukochany*, смотрит на нее, в нее, и каким-то образом, несмотря на слои грязи, пот и плохой запах, Белла чувствует себя красавицей.

– Ты! – шепчет Яков. – Как ты... Заходи, быстро.

Он втягивает ее внутрь и запирает дверь. Белла опускает его пальто и фотокамеру на пол, а когда выпрямляется, его ладони ложатся на ее плечи. Он нежно держит ее, внимательно оглядывая с головы до ног. В его глазах Белла видит беспокойство, усталость, недоверие. Что бы ни произошло здесь, во Львове, это оставило на нем свой след. Такое впечатление, что он не спал много дней.

– Куба, – начинает она, называя его, как иногда делает, еврейским именем, желая только одного – заверить его, что с ней все в порядке, что сейчас она здесь и ему не нужно беспокоиться.

Но Яков еще не готов разговаривать. Он притягивает ее к себе, обнимая так крепко, что она едва может дышать, и в этот миг Белла понимает: она правильно сделала, что приехала.

Она утыкается лицом в такой знакомый изгиб его шеи, проводя руками вверх по его узкой спине. Он пахнет, как всегда, древесной стружкой, кожей и мылом. Белла чувствует бие-ние его сердца напротив своего, тяжесть его щеки на своей голове. Под рубашкой его лопатки торчат, как бумеранги, еще острее, чем она помнит. Они стоят так целую минуту, пока Яков не отклоняется назад, поднимая Беллу вместе с собой, выше и выше, пока ее ноги не отрываются от пола. Он смеется и кружит ее, и скоро комната становится размытой и Белла тоже смеется.

Когда ее носки касаются пола, Яков наклоняется вперед. Она позволяет своему телу расслабиться в его руках и, когда он наклоняет ее назад, откидывает голову, чувствуя, как кровь приливает к ушам. На мгновение Яков замирает, бережно держа ее на весу – заключительное торжественное па бального танца, – прежде чем поставить ее на ноги.

Яков снова вглядывается в нее, сжимая обе ее руки в своих, его лицо вдруг становится серьезным.

– Ты приехала, – говорит он, качая головой. – Я получил твое письмо сразу после начала боев. А потом нас мобилизовали, и когда я вернулся, тебя все еще не было. Белла, если бы я знал, что все будет настолько плохо, клянусь, я бы никогда не попросил тебя приехать. Я так волновался.

– Знаю, любимый. Знаю.

– Поверить не могу, что ты здесь.

– Мы несколько раз чуть не повернули назад.

– Ты должна мне все рассказать.

– Расскажу, но сначала, пожалуйста, ванну, – улыбается Белла.

Яков вздыхает, его глаза смягчаются.

– Что бы я делал, если бы...

– Тише, кохане. Все хорошо, дорогой. Я здесь.

Яков опускает голову, касаясь лба Беллы своим.

– Спасибо, что приехала, – шепчет он, закрыв глаза.

Они сидят за маленьким квадратным столом в кухне, держа в ладонях чашки с горячим черным чаем. Волосы Беллы еще мокрые после ванны, кожа на шее и щеках порозовела. Она отскребала себя и отмокала целых три минуты, прежде чем Яков легонько постучал в дверь ванной, разделся и забрался к ней.

– Я честно не думала, что все получится, – говорит Белла.

Она только что закончила рассказывать про план Томека, про то, как цепенела при мысли о том, что ее обнаружат, завернут обратно или возьмут в плен. Оказалось, что Томек был прав насчет немецкой линии фронта: она сумела обогнуть ее по луку, где он ее оставил. Но когда она добралась до леса на другой стороне, то потеряла чувство направления и отклонилась к северу. Она шла много часов, пока наконец не наткнулась на рельсы, по которым вышла к маленькой станции в предместьях города. Там, несмотря на свой грязный жалкий вид, ей удалось уговорить военных пропустить ее через последний пропускной пункт, купить на оставшиеся злотые билет в один конец и проехать последние несколько километров до Львова на поезде.

– Я удивилась, когда приехала, – говорит Белла. – Я не видела на улицах солдат вермахта, хотя думала, что их тут полно.

Яков качает головой.

– Немцы ушли, – тихо говорит он. – Теперь Львов оккупировал Советский Союз. Гитлер отозвал своих солдат за несколько дней до капитуляции Польши.

– Подожди... что?

– Львов сдался всего за три дня до Варшавы...

– Польша... сдалась?

Кровь отливает от щек Беллы.

Яков берет ее за руку.

– Ты не слышала?

– Нет, – шепчет Белла.

Яков сглатывает, как будто не зная, с чего же начать. Он прочищает горло и вкратце рассказывает все, что Белла пропустила. Рассказывает, как поляки во Львове много дней ждали помощи от Красной армии, которая стояла на востоке от города; как они думали, что Советы

пришли защитить их, и как через некоторое время стало ясно, что это не так. Он описывает, насколько сильно противник превосходил их численностью. Когда город наконец сдался, генерал Сикорский, командующий обороной, заключил договор, по которому польским офицерам разрешалось покинуть город.

– Генерал сказал: «Зарегистрируйтесь у советских властей и отправляйтесь по домам», – Яков замолкает на мгновение, уставившись в свою кружку. – Но как только немцы ушли, десятки польских офицеров без объяснений были арестованы советской полицией. Тогда-то я и выбросил свою форму, – добавляет Яков, – и решил, что лучше буду скрываться здесь и дожидаться тебя.

Белла смотрит, как кадык Якова поднимается и опускается. Она ошеломлена.

– Через несколько дней после сдачи Варшавы, – продолжает Яков, – Гитлер и Сталин разделили Польшу на две части. Прямо посередине. Нацисты забрали запад, Красная армия – восток. Львов на советской стороне... вот почему ты не видела ни одного немца.

Белла едва может говорить. Советский Союз заодно с немцами. Польша сдалась.

– Ты... тебе пришлось...

Но она затихает, слова застревают под небом.

– Были бои, – говорит Яков. – И бомбежки. Немцы сбросили много бомб. Я видел, как умирали люди, я видел ужасные вещи... но нет, – он вздыхает, глядя на руки. – Мне не пришлось... Я не смог никому навредить.

– А твой брат Генек? А Селим? А Адам?

– Генек и Адам здесь, во Львове. А Селим... после ухода немцев мы ничего не слышали о нем.

Сердце Беллы ухает вниз.

– А арестованные офицеры?

– С тех пор их никто не видел.

– Боже мой, – шепчет Белла.

В спальне темно, но по дыханию Якова рядом Белла понимает, что он тоже не спит. Она почти забыла, как приятно спать на матрасе – рай по сравнению с деревянным полом повозки Томека. Перекатившись набок лицом к Якову, она закидывает голую голень на его ногу.

– Что нам делать? – спрашивает она.

Яков зажимает ее ногу между своими. Белла чувствует его взгляд. Он находит ее руку, целует ее и прижимает ладонью к своей груди.

– Нам надо пожениться.

Белла смеется.

– Я скучал по этому звуку, – говорит Яков, и Белла слышит, что он улыбается.

Конечно, она имела в виду, что им делать дальше: например, остаться во Львове или вернуться в Радом? Они еще не обсудили, что безопаснее. Она прижимается носом, а потом и губами к его губам, продлевая поцелуй на несколько секунд, прежде чем отстраниться.

– Ты серьезно? – выдыхает она. – Не может быть.

Яков. Она не ожидала, что речь пойдет о браке. По крайней мере не в первую ночь после разлуки. Похоже, война придала ему смелости.

– Конечно серьезно.

Белла закрывает глаза, тело все глубже погружается в перину. Планы можно обсудить и завтра, решает она.

– Это предложение?

Яков целует ее подбородок, щеки, лоб.

– Полагаю, это зависит от твоего ответа, – наконец говорит он.

Белла улыбается.

– Ты знаешь мой ответ, любимый.

Она перекачивается обратно, и он обнимает ее со спины, окутывая своим теплом. Они идеально подходят друг другу.

– Тогда договорились, – говорит Яков.

Белла улыбается:

– Договорились.

– Я так боялся, что ты не доедешь.

– Я так боялась, что не найду тебя.

– Давай больше не будем так делать.

– Как?

– В смысле... давай больше не расставаться, никогда. Это было... – голос Якова опускается до шепота. – Это было ужасно.

– Ужасно, – соглашается Белла.

– Отныне всегда вместе, хорошо? Что бы ни случилось.

– Да. Что бы ни случилось.

Глава 8

Халина

*Радом, оккупированная Германией часть Польши
10 октября 1939 года*

Зажав нож в свободной руке, Халина сдувает упавшую на глаза белокурую прядь и подается вперед на коленях. Прижав розовые стебли свекольной ботвы к земле, она стискивает зубы, поднимает лезвие и со всей силы опускает его. Чвак. В начале дня она поняла, что если приложить достаточно силы, то можно отрубить ботву за один раз, а не за два. Но это было много часов назад. Сейчас она вымоталась. Руки кажутся вырубленными из дуба и готовы отвалиться в любой момент. Теперь ей требуется две, а то и три попытки. Чвак.

Братья недавно прислали письмо из Львова, в котором сообщили, что советские власти определили их на кабинетную работу. Кабинетную работу! Новость начинает бесить ее. Кто бы мог подумать, что именно она окажется в поле? До войны Халина работала помощницей в медицинской лаборатории своего зятя Селима, где носила белый халат и латексные перчатки, и уж точно ей никогда не приходилось пачкать руки. Она вспоминает свой первый день в лаборатории. Она была уверена, что работа окажется скучной, но спустя неделю поняла, что исследования – повседневная рутина, таящая возможность новых открытий, – приносят удивительное удовлетворение. Она была готова на что угодно, чтобы вернуться к прежней работе. Но лабораторию, как и родительский магазин, конфисковали, а если ты еврей без работы, то немцы быстро назначат тебе новую. Ее родителей направили в немецкую столовую, сестру Милу – в швейную мастерскую чинить форму с немецкого фронта. Халина понятия не имеет, почему ей дали именно это назначение; поначалу она подумала, что это шутка, даже рассмеялась, когда служащий временной городской биржи труда вручил ей бумажку с надписью «Свекольная ферма». У нее нет ни капли опыта в уборке овощей. Но очевидно, это не имеет значения. Немцы хотят есть, а урожай готов к уборке.

Глядя на свои руки, Халина хмурится от отвращения. Она едва узнает их: свекла окрасила их в насыщенный цвет фуксии, а в каждую складочку забились грязь – под ногти, в маленьких складках вокруг суставов, под кожей прорвавшихся мозолей, усеявших ее ладони. Однако еще хуже дела обстоят с одеждой. Она практически испорчена. Халина не особенно переживала за брюки (слава Богу, что она решила надеть их, а не юбку), но она очень любила свою шифоновую блузку, а ботинки – вообще отдельная тема. Это ее самая новая пара, броги³⁴ на шнуровке, со слегка тупым носком и маленьким плоским каблуком. Она купила их летом у Фогельмана и надела сегодня, предполагая, что ей поручат работу в конторе фермы, возможно, связанную с бухгалтерией, и что лучше выглядеть собранной, чтобы произвести впечатление на новое начальство. Когда-то красивые начищенные мыски из коричневой кордовой кожи покрылись царапинами и испачкались, а затейливую декоративную перфорацию по бокам почти не видно. Это трагедия. Придется потратить несколько часов, вычищая из дырочек грязь швейной иглой. Завтра, решает Халина, она наденет самую поношенную одежду, может быть, позаимствует что-нибудь у Якова.

Она садится на пятки, вытирает пот со лба тыльной стороной руки и, выпятив нижнюю губу, снова сдувает упрямый локон, щекочущий лицо. Когда теперь она сможет подстричься? Радом оккупирован тридцать три дня. Теперь ее салон закрыт для евреев, а это проблема,

³⁴ Броги – туфли или ботинки с декоративной перфорацией, которая может располагаться вдоль швов, на носках и задниках.

потому что она отчаянно нуждается в стрижке. Халина вздыхает. Первый день на ферме, а ее уже тошнит. Чвак.

Кажется, что день начался целую вечность назад. Утром ее забрал офицер вермахта в отутюженной зеленой форме, с повязкой со свастикой на рукаве и такими тонкими усиками, что они казались просто линией, нарисованной угольным карандашом над его губой. Он поприветствовал ее взглядом из-под козырька фуражки и одним-единственным словом: «*Pariere!*» (очевидно, евреи не заслуживали даже простого «здравствуйте»). Затем ткнул большим пальцем себе за плечо:

– Садитесь.

Халина с опаской забралась в кузов грузовика и села среди восьми других работников. Она узнала всех, кроме одного. Проезжая под каштанами вдоль Варшавской улицы – Халина отказывалась называть ее новым немецким *Постштрассе*, – она держала голову низко опущенной, боясь, что ее узнают. Будет ужасно неловко, думала она, если кто-нибудь из старых знакомых увидит, что ее так вывозят.

Но когда грузовик остановился на углу Костельной улицы, она подняла голову и к, своему ужасу, встретила взглядом со школьной подругой, которая стояла у входа в кондитерскую Помяновского. Во время учебы в гимназии Сильвия ужасно хотела подружиться с Халиной: она почти год следовала за ней по пятам, прежде чем они сблизились. Они вместе делали домашние задания и ходили друг к другу в гости по выходным. Однажды Сильвия пригласила Халину к себе домой на Рождество; по настоянию Нехумы Халина принесла с собой жестяную коробку с маминым миндальным печеньем в форме звездочек. После окончания школы они не виделись; Халина знала только, что Сильвия устроилась на работу санитаркой в одну из городских больниц. Все это пронеслось у нее в мыслях, пока грузовик стоял на холостом ходу и старые подруги смотрели друг на друга через мостовую. На секунду Халина подумала помахать рукой, как будто для нее совершенно нормально тесниться в кузове грузовика с восемью другими евреями, пока их везут на работы, но не успела поднять руку, как Сильвия прищурилась и отвернулась. Она сделала вид, что не знает ее! Кровь Халины вскипела от унижения и ярости, и когда грузовик наконец тронулся, следующие полчаса она придумывала все, что выскажет Сильвии при следующей встрече.

Они ехали и ехали, город быстро растворялся вдали, улицы с двухсторонним движением и кирпичными фасадами семнадцатого века сменились лоскутным одеялом садов и пастбищ и узкими проселочными дорогами, окаймленными соснами и ольхой. К тому времени, как они приехали на ферму, Халина остыла, но отбила зад из-за кочек, отчего день стал еще ненавистнее.

Когда они остановились, то не увидели ни одного здания, только землю и бесконечные ряды ботвы. Тогда-то, глядя на гектары поля, Халина и поняла, что это не кабинетная работа. Офицер построил их в ряд около грузовика и бросил к их ногам корзины и мешки.

– *Stämme*, – сказал он, показывая на мешки. – *Rote Rüben*, – добавил он, пнув корзину.

Хотя Халина достаточно знала немецкий, чтобы объясняться, в ее словаре не было слов «ботва» и «свекла», но расшифровать указания было нетрудно. Ботву в мешок, свеклу в корзину. Затем офицер выдал каждому еврею по ножу с длинным тупым лезвием, сердито глянув на Халину, когда она взяла свой.

– *Für die stämme*, – сказал он, положив ладонь на потертую деревянную рукоять висевшего у него на ремне пистолета. Его усики изогнулись вместе с верхней губой, став похожими на коготь.

«Смело с его стороны дать нам такие большие ножи», – подумала Халина.

И началось. Чвак, оторвать, отряхнуть, сложить. Чвак, оторвать, отряхнуть, сложить.

Наверное, надо бы спрятать в карман пару корнеплодов и принести домой маме. До того как еду стали выдавать по нормам, Нехума потеряла бы запеченную свеклу, приправила хреном

и лимоном и подала бы с копченой селедкой и вареной картошкой. У Халины потекли слюнки, она уже несколько недель не ела нормально. Но в глубине души она знает, что лишняя свекла на ужин не стоит последствий, если ее поймают на краже.

Раздается пронзительный свист, и Халина поднимает голову. Примерно в сотне метров от нее стоит грузовик, а рядом с ним немецкий офицер, надо полагать тот, который привез их, и машет фуражкой над головой. Со своего места она видит, как двое других рабочих уже идут к нему. Когда она встает, мышцы болят. Слишком много времени она провела, согнувшись под прямым углом. Халина бросает нож поверх свеклы в корзине и вешает плетеную ручку на согнутую руку. Поморщившись, она наклоняется за набитым ботвой мешком, закидывает веревочную лямку на другое плечо и ковыляет к грузовику.

Солнце опустилось за деревья, окрасив небо в розоватый оттенок, как будто испачкав соком растений, которые Халина собирала целый день. Она понимает, что скоро ей понадобится более теплое пальто. Офицер снова свистит, делая ей знак пошевеливаться, и она вполголоса ругает его. Корзина тяжелая, наверное килограмм пятнадцать. Халина идет так быстро, насколько позволяют суставы, гадая, окажется ли свекла, которую она собрала, в столовой, где работают ее родители. Они там уже неделю.

– Не так уж плохо, – сказала мама после первого дня, – за исключением того, что придется готовить прекрасную еду, которую мы никогда не попробуем.

У грузовика офицер с тонкими усиками ждет, протянув руку.

– Das messer³⁵.

Халина отдает ему нож, ставит мешок и корзину в кузов и забирается сама. Остальные уже заняли свои места, и все выглядят такими же грязными, как она. Они забирают последнего рабочего и, сгорбившись, едут домой, слишком уставшие, чтобы разговаривать. В ногах лежит результат их труда.

– Завтра в это же время, – рявкает немецкий офицер, когда грузовик останавливается у четырнадцатого дома по Варшавской улице.

Почти стемнело. Офицер отдает Халине через окно кабины ее документы и маленький стограммовый ломтик черствого хлеба, ее плата за день.

– Danke³⁶, – говорит Халина, взяв хлеб и стараясь скрыть сарказм за улыбкой, но офицер даже не смотрит на нее и уезжает до того, как слово сорвалось с ее губ.

– Шкоп³⁷, – шепчет она, поворачиваясь, и хромот к дому, нащупывая ключ в кармане пальто.

В прихожей Халина застает Милу. Та только что вернулась из швейной мастерской и вешает свое пальто. Фелиция сидит на персидском ковре, размахивая серебряной погремушкой и улыбаясь ее звонкому звуку.

– Батюшки, – ошарашенно ахает Мила. – Что тебя заставили делать?

– Я занималась сельским хозяйством, – говорит Халина. – Весь день ползала по полям. Можешь в это поверить?

– Ты – на ферме, – язвит Мила, борясь со смехом. – Вот это да.

– Знаю. Это было кошмарно, – говорит Халина, стоя на одной ноге около двери, снимая ботинок и морщась, когда отрывает мозоль. – Я все время думала: если бы только Адам видел, как я ползаю по грязи на четвереньках, словно животное! Вот бы он посмеялся. Посмотри на мои ботинки! – восклицает она. – Боже, какой ужас.

Она рассматривает свои носки, поражаясь, что и туда набилась грязь, и осторожно стягивает их, чтобы не запачкать пол.

³⁵ Нож (нем.)

³⁶ Спасибо (нем.)

³⁷ Презрительное прозвище немцев, особенно солдат вермахта, в Польше во времена Второй мировой войны.

– Что это? – спрашивает она, показывая на кусок материи, свисающий с шеи Милы.

– Ой, – Мила опускает глаза на грудь. – Совсем забыла, что ношу это. Это я сделала. Не знаю, как назвать. Наверное, упряжь? – она поворачивается, показывая, как материя перекрещивается между ее лопаток. – Я могу посадить сюда Фелицию, – она снова поворачивается и хлопает по петле, свисающей спереди. – Тут она прячется по дороге в мастерскую и обратно.

Мила берет Фелицию с собой на работу каждый день, хотя официально это запрещено. В производственные помещения не допускаются лица моложе двенадцати лет – это один из многих немецких указов, невыполнение которых карается смертью. Но Мила не может не работать – все должны работать, – и не может оставить Фелицию, которой нет даже года, одну на весь день дома.

Халина восхищается находчивостью сестры, ее смелостью. Будь она на месте Милы, хватило бы ей наглости прийти в мастерскую с незаконно привязанным ребенком у груди? После отъезда Селима Мила изменилась. Халина часто думает, как трудно давалось Миле материнство, когда все было проще, а теперь, когда все трудно, у нее получается более естественно. Как будто у нее открылось какое-то шестое чувство. Больше Халина не беспокоится, что Мила психанет после очередной бессонной ночи.

– И Фелиции нравится ее... упряжь? – спрашивает Халина.

– Похоже, она не против.

Халина на цыпочках проходит в кухню, а Мила начинает накрывать стол к ужину. Несмотря на то что их пища уже не та, к которой они привыкли, Нехума настаивает, чтобы они использовали столовое серебро и фарфоровую посуду.

– Что Фелиция делает целый день, пока ты шьешь? – кричит Халина.

– В основном играет под моим рабочим столом. Спит в корзинке с лоскутами. Она поразительно терпелива, – добавляет Мила уже без всякой радости в голосе.

Склонившись над кухонной раковиной, Халина моет руки до локтей, представляя, как ее одиннадцатимесячная племянница играет под столом часами напролет. Она жалеет, что ничем не может помочь.

– От Селима ничего? – спрашивает она.

– Нет.

Вода стучит по металлической раковине, и Халина замолкает. Генек, Яков и Адам – все написали, указав свои новые адреса во Львове. В своих письмах они сообщали, что не видели Селима с прихода Советов. Сердце Халины болит за сестру. Должно быть, невыносимо не знать, где ее муж, даже если он жив. Она несколько раз пыталась утешить Милу со своей точки зрения: отсутствие новостей лучше, чем плохие новости; но даже она понимает, что исчезновение Селима не сулит ничего хорошего.

В последнем письме Адам подтвердил то, что они читали в «Трибьюн» и «Радомер Лейбен» – газеты были единственным источником новостей, поскольку радио конфисковали, – что польская армия во Львове распущена, и немцы отошли, оставив город в руках Красной армии. «Не ужасно» – так Адам описывал жизнь при Советах. Он сообщал, что работы много. Собственно, он нашел себе работу. Плата мизерная, но это работа. Он мог бы найти работу и Халине. И у него есть новости – кое-что, чем он должен поделиться лично. Он подписал письмо «С любовью» и добавил постскриптом: «Думаю, тебе надо приехать во Львов».

Несмотря на страх жить под властью Советов, мысль о переезде во Львов будоражит Халину. Она сильно скучает по Адаму, по его спокойному, надежному характеру, по его нежным, уверенным прикосновениям – прикосновениям, которые заставили ее понять, что юноши, с которыми она встречалась до него, совершенно никуда не годились по сравнению с этим мужчиной. Она готова на все, чтобы снова быть с ним. Халина гадает, не являются ли его новости предложением. Ей двадцать два, ему тридцать два. Они вместе уже довольно давно, и брак кажется логичным следующим шагом. Она часто думает об этом, сердце пере-

полняется при мысли о том, как он попросит ее руки, а затем опустошается, когда она понимает, что жизнь с Адамом означает переезд из Радома. Как бы она ни прокручивала ситуацию, ей кажется неправильным бросать родителей. Кто будет присматривать за ними, ведь Яков и Генек тоже во Львове? Мила должна заботиться о Фелиции, а Адди до застрял во Франции. В последнем письме он написал, что получил повестку о призыве и в ноябре будет зачислен в армию. Остается только она. И вообще, даже если бы она могла обосновать короткий визит во Львов с намерением вернуться, сама поездка будет практически невозможной, поскольку последний из нацистских указов лишил ее права покидать дом и ездить в поезде без специального пропуска. Пока что у нее нет выбора. Она останется здесь.

Гремит замок, и через мгновение в квартире раздается голос Сола, зовущего внучку.

– Где мой персик?

Фелиция широко улыбается, неуверенно встает и ковыляет из столовой в коридор, выставив ручки вперед, как магниты, которые притягивают ее в объятия бабушки. Халина и Мила идут следом. Фелиция смеется, когда Сол подхватывает ее, шаловливо рыча и прикусывая плечико, пока ее смешки не переходят в визги. Позади мужа появляется Нехума, и Халина с Милой здороваются с родителями, обмениваясь поцелуями.

– Боже мой, – выдыхает Нехума, уставившись на одежду Халины. – Что случилось?

– Я собирала урожай. Ты когда-нибудь видела меня такой грязной?

Нехума рассматривает младшую дочь и качает головой.

– Никогда.

– А вы? Столовая? – спрашивает Халина, вешая мамино пальто.

Нехума показывает большой палец, завязанный окровавленным бинтом.

– За исключением этого, было скучно.

– Мама!

Халина берет Нехуму за руку, чтобы взглянуть поближе.

– Я в порядке. Если бы немцы давали нам нормальные ножи, я не резалась бы так часто.

Но знаете что? Немного крови в картофлянке³⁸ никого не убьет.

Она улыбается, довольная своим секретом.

– Ты должна быть осторожнее, – ворчит Халина.

Нехума убирает руку и игнорирует замечание.

– У меня есть угощение, – говорит она, доставая из-под блузки носовой платок, в который завернута горсть картофельных очисток. – Всего чуть-чуть, – говорит она, заметив поднятые брови Халины. – Я срезала много. Смотрите, у нас почти половина картофелины.

Халина округляет глаза.

– Ты их украла? Из столовой?

– Меня никто не видел.

– А если бы увидели?

Тон Халины резок, возможно даже слишком. Не в ее правилах так разговаривать с матерью, и она знает, что должна извиниться, но не делает этого. Одно дело, когда Мила тайком пронесит ребенка на рабочее место – у нее просто нет выбора, и совсем другое, когда ее мама ворует у немцев и не воспринимает это серьезно.

В комнате тихо. Халина, Мила и их родители переглядываются. Наконец Мила говорит:

– Халина, все нормально, нам это нужно. Фелиция похожа на скелет, посмотри на нее.

Спасибо, мама. Идемте варить суп.

³⁸ Картофлянка – польский картофельный суп.

Глава 9

Яков и Белла

*Львов, оккупированная Советами часть Польши
24 октября 1939 года*

Белла осторожно шагает, чтобы не наступить на пятки Анне. Сестры идут медленно, но решительно, разговаривая шепотом. Время девять вечера, и на улицах пусто. Во Львове нет комендантского часа, как в Радоме, но режим светомаскировки еще в силе, поэтому фонари на улицах не горят и почти ничего не видно.

– Поверить не могу, что мы не взяли фонарик, – шепчет Белла.

– Я прошла по маршруту днем, – говорит Анна. – Просто держись рядом, я знаю, куда иду.

Белла улыбается. То, как они крадутся задворками в бледно-голубом свете луны, напоминает ей о ночах, когда они с Яковом на цыпочках выбирались из своих квартир, чтобы заняться любовью в парке под каштанами.

– Это здесь, – шепчет Анна.

Они поднимаются по маленькой лестнице и входят в дом через боковую дверь. Внутри даже темнее, чем на улице.

– Постой тут, пока я зажгу свечку, – говорит Анна, копясь в сумочке.

– Да, мэм, – смеется Белла.

Всю жизнь она командовала Анной. Анна малышка, любимица семьи. Но Белла знает, что за милым личиком и тихим нравом сестры скрывается острый ум и способность добиться всего, чего пожелает. Анна младше сестры на два года, но вышла замуж первой. Они с Даниелом живут во Львове на одной улице с Беллой и Яковом – это обстоятельство смягчило боль от разлуки с родителями. Сестры часто видятся и много обсуждают, как убедить родителей переехать во Львов. Но Густава в письмах настаивает, что они с Генри справляются в Радоме. «Отцовская стоматология еще приносит кое-какие деньги, – сообщала она в последнем письме. – Он лечит немцев. Нам нет смысла переезжать, по крайней мере пока. Просто обещайте по возможности навещать нас и пишите почаще».

– Как ты нашла это место? – спрашивает Белла.

Анна не назвала адрес, просто велела идти с ней. По пути они петляли по стольким узким темным проулкам, что Белла потеряла чувство направления.

– Его нашел Адам, – говорит Анна, снова и снова безрезультатно чиркая спичкой, и добавляет: – Через подполье. Определенно, они раньше использовали его в качестве конспиративной квартиры. Дом заброшен, так что неожиданные гости нам не грозят.

Наконец спичка загорается, образовав резко пахнущее облачко серы и янтарный кружок света.

– Адам сказал, что оставил свечу около крана, – бормочет она и, закрывая огонек ладонью, шаркает к раковине.

Раввина тоже нашел Адам, и Белле известно, что это непросто. После сдачи Львова Советы лишили городских раввинов их званий и запретили исполнять свои обязанности. Те, кто не смог найти другую работу, начали скрываться. Йоффе – единственный раввин, которого Адаму удалось найти и который, по его словам, не побоялся совершить тайный обряд бракосочетания.

В слабом свете спички комната начинает приобретать форму. Белла осматривается вокруг, на плите темнеет чайник, на столешнице вырисовывается емкость с деревянными

ложками, на окне над раковиной висит плотная штора. Похоже, обитатели уходили отсюда в спешке.

– Так любезно со стороны Адама сделать это для нас, – говорит Белла больше себе, чем сестре.

Она познакомилась с Адамом год назад, когда он снял у Курцей комнату. В основном она знала его в качестве молодого человека Халины, спокойного, невозмутимого и довольно тихого – зачастую его голос был едва слышен за обеденным столом. Но после ее приезда во Львов Адам удивил Беллу способностью организовать невозможное: изготовить фальшивые удостоверения личности для семьи. Насколько было известно русским, Адам работает во фруктовом саду за пределами города, собирает яблоки, но для подполья он стал ценным фальсификатором. К настоящему времени у сотен евреев в карманах лежат его удостоверения, которые он делает с такой тщательностью, что Белла могла бы поклясться, что они настоящие.

Однажды она спросила, как у него получается делать их такими похожими на настоящие.

– Они и есть настоящие. По крайней мере печати, – сказал он и объяснил, как обнаружил, что можно перенести официальные правительственные печати с настоящих удостоверений при помощи очищенного только что сваренного яйца. – Я снимаю оригинал, пока яйцо еще горячее, а потом прижимаю яйцо к новому удостоверению. Не спрашивай как, но это работает.

– Нашла!

Темнота вновь окутывает их, пока Анна ищет новую спичку. В следующее мгновение загорается свеча.

Белла снимает пальто и вешает его на спинку стула.

– Здесь холодно, – шепчет Анна. – Извини.

Со свечой в руках она подходит к Белле.

– Все нормально. – Белла подавляет дрожь. – Яков уже здесь? А Генек? Херта? Тут так тихо.

– Все здесь. Думаю, собрались в передней.

– Значит, я выйду замуж не в кухне?

Белла смеется, а потом вздыхает, понимая, что хотя и говорила себе, что готова выйти замуж за Якова где угодно, но от мысли пожениться здесь, в темном, призрачном доме, принадлежавшем незнакомой семье, чувствует себя не в своей тарелке.

– Я тебя умоляю. Ты слишком хороша для свадьбы на кухне.

Белла улыбается.

– Не думала, что буду нервничать.

– Это день твоей свадьбы, конечно ты нервничаешь!

Слова эхом отзываются у нее в голове, и Белла замирает.

– Я бы хотела, чтобы мама и папа были здесь, – наконец говорит она, и от собственных слов ее глаза наполняются слезами.

Они с Яковым хотели подождать до конца войны, чтобы устроить традиционную церемонию в Радоме вместе с семьями. Но никто не знает, когда эта война кончится. Они решили, что и так ждали достаточно. Татары и Курцы прислали свои благословения из Радома. Они практически умоляли Якова и Беллу пожениться. И все равно Белле не нравится, что родители не могут быть с ней, не нравится, что, несмотря на счастье быть с Яковым, она испытывает чувство вины. Правильно ли, размышляет она, устраивать праздник, когда ее страна воюет? Когда ее родители одни в Радоме – родители, которые всю жизнь отдавали ей так много, хотя имели так мало. Память переносит Беллу в день, когда они с Анной вернулись домой из школы и обнаружили отца в гостиной с лохматой собакой у ног. Щенок оказался подарком, сказал их отец, от одного из его пациентов, который переживал трудные времена и не мог заплатить за вырванный зуб. Белла и Анна, просившие собаку с самого детства, завизжали от восторга

и бросились обнимать отца, который, смеясь, обнимал их, а щенок игриво прикусывал их за щиколотки.

Анна стискивает ее ладонь.

– Знаю, и мне хотелось бы. Но они так хотели этого для тебя. Ты не должна волноваться за них. Не сегодня.

Белла кивает.

– Просто все совсем не так, как я представляла, – шепчет она.

– Знаю, – ласково повторяет Анна.

Будучи подростками, Белла с Анной часами лежали в кровати, придумывая истории про свои свадьбы. В то время Белла ясно представляла себе сладкий аромат букета белых роз, который составит ее мама; улыбку на папином лице, когда он поднимет ее вуаль, чтобы поцеловать в лоб под хупой³⁹; трепет, когда Яков наденет ей на указательный палец⁴⁰ кольцо, символ их любви, который она будет носить до конца жизни. Она знает, что ее свадьба, если бы она проводилась в Радоме, была бы далеко не пышной. Она была бы скромной. Красивой. И совершенно точно она не была бы тайной церемонией в холодном остве заброшенного, отключенного от электричества дома за пятьсот километров от родителей. Но, напоминая себе Белла, она ведь сама выбрала поехать во Львов. Они с Яковом вместе решили пожениться здесь. Сестра права: родители много лет хотели этого. Она должна сосредоточиться на том, что имеет, а не на том, чего нет, особенно этим вечером.

– Никто не мог предвидеть такого, – добавляет Анна. – Но только подумай, – говорит она, и ее голос звучит жизнерадостнее, – когда увидишь маму и папу в следующий раз, ты уже будешь замужней женщиной! Сложно поверить, правда?

Белла улыбается, прогоняя слезы.

– Правда, в каком-то смысле, – шепчет она, думая о папином письме, которое пришло два дня назад. В нем Генри описывал, как безмерно они с Густавой радовались, узнав, что она собирается замуж. «Мы очень любим тебя, дорогая Белла. Твой Яков – славный мальчик из хорошей семьи. Мы отпразднуем вместе, когда снова соберемся». Белла не стала показывать письмо Якову, а спрятала его под подушку и решила, что даст ему прочитать позже вечером, когда они вернутся в квартиру в качестве супругов.

Втянув живот, Белла проводит руками по кружевному лиффу платья.

– Я так счастлива, что оно подошло, – говорит она, выдыхая. – Оно такое же красивое, каким я его помню.

Когда Анна обручилась с Даниелом, их мама, зная, что они не могут позволить себе заказать у портнихи такое платье, которое Анне хотелось бы, решила сшить его сама. Они вместе с Белой и Анной рассматривали понравившиеся модели в журналах «Макколлс» и «Харперс базар». Когда Анна наконец выбрала то, которое понравилось ей больше всех – вдохновленное фотографиями со съемок Барбары Стэнвик⁴¹, – женщины семейства Татар полдня провели в магазине тканей Нехумы, разглядывая рулоны разного атласа, шелка и кружев, потирая их между пальцами и восхищаясь, какие все они роскошные на ощупь. Нехума продала им выбранные наконец ткани по себестоимости, и только через месяц Густава закончила платье. Треугольный вырез, отделанный кружевом лиф, длинные присобранные рукава буф, пуговицы на спине, юбка в форме колокола до самого пола и пудрово-белый атласный пояс, завязанный на бедрах. Анна была в восторге и объявила его шедевром. Белла втайне надеялась, что когда-нибудь ей доведется его надеть.

³⁹ Хупа – балдахин, под которым еврейская пара стоит во время церемонии своего бракосочетания.

⁴⁰ По еврейским традициям невесте надевают кольцо на указательный палец.

⁴¹ Барбара Стэнвик (1907–1990) – американская актриса, которая была особенно популярна в 1930–1940-х годах.

– А я счастлива, что взяла его с собой, – говорит Анна. – Я чуть не оставила его у мамы, но не смогла с ним расстаться. О, Белла, – Анна отходит назад, чтобы видеть ее целиком. – Ты такая красивая! – говорит она, поправляя золотую брошь на цепочке вокруг шеи Беллы, чтобы та легла ровно во впадинку между ключиц. – Идем, пока я не заплакала. Готова?

– Почти.

Белла достает из кармана пальто металлический тюбик. Она снимает крышку, поворачивает нижнюю половину и аккуратно наносит на губы помаду цвета красного перца, сожалея об отсутствии зеркала.

– Я рада, что ты принесла и ее, – говорит она, смыкая губы, прежде чем убрать тюбик обратно в карман. – И что согласилась поделиться, – добавляет она.

Когда помада исчезла из продажи – нефть и касторовое масло требовались армии, – большинство знакомых женщин отчаянно цеплялись за остатки своей косметики.

– Конечно, – говорит Анна. – Ну... готова?

– Готова.

Держа свечу в одной руке, Анна аккуратно провожает Беллу к двери.

Передняя тускло освещена двумя маленькими свечами, установленными на балясинах лестницы. Яков стоит у подножия. Сначала Белла видит только его силуэт, его узкий торс, пологий скат плеч.

– Сохраним эту на потом, – говорит Анна и задувает свою свечу. Она целует Беллу в щеку. – Я люблю тебя, – говорит она, лучезарно улыбаясь, и уходит поздороваться с остальными.

Белла их не видит, но слышит шепот:

– Ох, jaka piękną!⁴² Красавица!

Рядом с ее женихом неподвижно стоит еще одна фигура, свечи освещают курчавую серебристую бороду. Должно быть, это раввин, понимает Белла. Она шагает в неровный свет свечей и, беря Якова под руку, чувствует, как исчезает стесненность в груди. Она больше не нервничает и не мерзнет. Она парит.

Яков смотрит ей в глаза, и в его глазах блестят слезы. В сестринских туфлях цвета слоновой кости она почти с него ростом. Он целует ее в щеку.

– Привет, солнышко, – улыбается он.

– Привет, – отвечает Белла с широкой улыбкой. Кто-то из гостей смеется.

Раввин протягивает руку. На его лице лабиринт морщинок. Должно быть, ему за восемьдесят, предполагает Белла.

– Я раввин Йоффе, – говорит он. Его голос, как и борода, грубоватый.

– Рада знакомству, – говорит Белла, беря его руку и наклоняя голову. Его пальцы на ощупь кажутся хрупкими и узловатыми, словно пучок веток. – Спасибо за это, – говорит она, зная, на какой риск он пошел.

Йоффе прочищает горло.

– Что ж. Начнем?

Яков и Белла кивают.

– Якуб, – начинает Йоффе, – повторяй за мной.

Яков изо всех сил старается не исковеркать слова раввина Йоффе, но это сложно, отчасти потому, что его иврит далек от совершенства, но в основном потому, что слишком отвлекается на свою невесту, чтобы мысль в голове удерживалась больше нескольких секунд. Она выглядит ошеломительно. Но его привлекает не платье. Он никогда еще не видел ее кожу такой гладкой, глаза такими яркими, ее улыбку, даже в полутьме, такой совершенной и сияющей. На черном как смоль фоне заброшенного дома, окутанная золотым сиянием свечей, она кажется ангелом.

⁴² Какая красивая (польск.)

Он не может отвести от нее глаз. Поэтому он с горем пополам произносит молитвы, думая не о словах, а своей будущей жене, запоминая каждый ее изгиб, жалея, что не может сфотографировать ее, чтобы позже показать ей, как прекрасно она выглядела.

Йоффе достает из нагрудного кармана платок и кладет его на голову Белле.

– Обойди семь раз вокруг Якуба, – велит он, указательным пальцем очерчивая воображаемый круг на полу.

Белла отпускает локоть Якова и подчиняется, ее каблуки тихо цокают по деревянным доскам. Она делает один круг, второй. Каждый раз, когда она проходит перед ним, Яков шепчет:

– Ты восхитительна.

И каждый раз Белла краснеет. Когда она встает рядом с Яковым, Йоффе читает короткую молитву и снова сует руку в карман, на этот раз достает сложенную пополам полотняную салфетку. Он открывает ее, показывая маленькую перегоревшую лампочку – те, что работают, сейчас имеют слишком большую ценность, чтобы их бить.

– Не беспокойтесь, она больше не работает, – говорит он, заворачивая лампочку и медленно наклоняясь, чтобы положить ее им под ноги. Что-то щелкает, и Яков гадает: это доски пола или суставы раввина.

– В разгар этого счастливого события, – говорит Йоффе, выпрямляясь, – не следует забывать о том, как хрупка в действительности жизнь. Разбивание стакана – символ разрушения Иерусалимского храма, мимолетности человеческой жизни на земле.

Он показывает на Якова, потом на пол. Яков осторожно опускает ногу на салфетку, сдерживая порыв наступить сильнее из-за страха, что кто-нибудь услышит.

– Мазаль тов!⁴³ – тихонько кричат остальные из тени, тоже стараясь сдерживать восклицания.

Яков берет руки Беллы в свои и переплетает их пальцы.

– Прежде чем мы закончим, – говорит Йоффе и переводит взгляд с Якова на Беллу, – я бы хотел добавить, что даже в темноте я вижу вашу любовь. Она наполняет вас изнутри и сияет в ваших глазах.

Яков сильнее сжимает руку Беллы. Раввин улыбается, у него не хватает двух зубов, затем начинает петь финальное благословение:

– Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь Мироздания, сотворивший веселье и радость; жениха и невесту; ликование, пение, торжество и блаженство; любовь, и братство, и мир, и дружбу...

Остальные подпевают, тихо хлопая, а Яков и Белла завершают обряд поцелуем.

– Моя жена, – говорит Яков, обводя взглядом лицо Беллы.

Слово звучит на губах чудесно и по-новому. Он крадет второй поцелуй.

– Мой муж.

Рука в руке, они поворачиваются поприветствовать гостей, которые вышли из тени передней, чтобы обнять новобрачных.

Через несколько минут все собираются в столовой на импровизированный ужин, еду для которого они пронесли под своими пальто. Ничего изысканного, но тем не менее угощение: бифштекс из конины, вареная картошка и домашнее пиво.

Генек тихонько стучит вилкой по одолженному стакану и прочищает горло.

– За пана и пани Курц, – говорит он, поднимая бокал. – Мазаль тов!

Яков прямо ощущает, как трудно Генеку говорить тихо.

– Мазаль тов, – отзываются остальные.

⁴³ Фраза на иврите, которая используется для поздравления в честь какого-либо события в жизни человека.

– И это заняло всего девять лет! – добавляет Генек, усмехаясь. Рядом с ним смеется Херта. – Но серьезно. За моего младшего брата и его очаровательную невесту, которую мы все обожаем с самой первой встречи. Пусть ваша любовь длится вечно. Лехаим!⁴⁴

– Лехаим, – в унисон вторят остальные.

Яков поднимает стакан, улыбаясь Генеку и жалея, как часто это делает, что не сделал предложения раньше. Попроси он руки Беллы год назад, у них была бы настоящая свадьба, с родителями, братьями и сестрами, тетями и дядями. Они бы танцевали под песни Поплавского, пили шампанское из высоких тонких бокалов и поглощали пряничный бисквит. Под конец, без сомнения, Адди, Халина и Мила по очереди играли бы на рояле, услаждая слух гостей джазовыми мелодиями и ноктюрнами Шопена. Яков поглядывает на Беллу. Они согласились, что это правильно – пожениться здесь, во Львове, и хотя она никогда этого не говорила, он знает, что она испытывает такую же тоску – по свадьбе, о которой они мечтали. Свадьбе, которой она достойна. «Перестань», – говорит себе Яков, прогоняя знакомый укол сожаления.

За столом стаканы соприкасаются краями, в их донышках отражается пламя свечей, когда невеста с женихом и их гости пьют пиво. Белла закашливается и прикрывает рот ладонью, выпучив глаза, и Яков смеется. Последний раз они выпивали много месяцев назад, а пиво терпкое.

– Крепкое! – замечает Генек, его ямочки создают тени на щеках. – Мы все не заметим, как опьянеем.

– По-моему, я уже пьяная, – вставляет Анна, сидящая на другом конце стола.

Все смеются. Яков поворачивается и кладет ладонь на колено Беллы под столом.

– Твое кольцо ждет тебя в Радоме, – шепчет он. – Прости, что не отдал его раньше. Я ждал идеального момента.

Белла качает головой.

– Перестань. Мне не нужно кольцо.

– Я знаю, это не...

– Тихо, Яков, – шепчет она. – Я знаю, что ты хочешь сказать.

– Любимая, я заглажу свою вину. Обещаю.

– Не надо, – улыбается Белла. – Честно, все идеально.

Сердце Якова готово лопнуть. Он наклоняется ближе, касаясь губами ее уха.

– Все не так, как мы себе представляли, но я хочу, чтобы ты знала: я никогда не был счастливее, чем сейчас, – шепчет он.

Белла снова краснеет.

– Я тоже.

⁴⁴ Традиционное еврейское пожелание, произносимое при совместном поднятии бокалов, «за жизнь».

Глава 10

Нехума

*Радом, оккупированная Германией часть Польши
27 октября 1939 года*

Нехума собрала принадлежащие семье ценные вещи и разложила их аккуратными рядами на обеденном столе. Вместе с Милой они проводят инвентаризацию.

– Нужно взять с собой как можно больше, – говорит Мила.

– Да, – соглашается Нехума. – Еще я оставлю кое-что у Лилианы.

Сыновья Нехумы выросли, играя во дворе вместе с детьми Лилианы, Курцы и Собчаки дружат семьями.

– Поверить не могу, что мы уезжаем, – шепчет Мила.

Нехума кладет ладони на резную спинку обеденного стула из красного дерева. Еще никто не произносил этих слов, по крайней мере вслух.

– Я тоже.

Рано утром в их дверь постучали двое солдат вермахта и сообщили новости.

– Вы должны до конца дня собрать свои личные вещи и выехать, – сказал один из них, сунув в лицо Солу бумажку, на которой был напечатан их новый адрес. – На работу вернетесь завтра.

Нехума сердито смотрела на мужчину из-за спины мужа, тот так же сердито смотрел на нее, скривившись, будто проглотил что-то тухлое.

– Мебель оставить, – добавил он и, развернувшись, ушел.

Как только дверь закрылась, Нехума погрозила в воздухе кулаком и шепотом заругалась, потом, пыхтя, пошла по коридору на кухню, чтобы положить на шею прохладную ткань.

Конечно, визит солдат не стал сюрпризом. Нехума чувствовала, что рано или поздно нацисты заявятся. В Радоме пребывало много немцев, они нуждались в жилье, а квартира Курцей с пятью спальнями была просторной и находилась на одной из самых престижных улиц. Когда неделю назад из этого же дома выселили две еврейские семьи, они с Солом начали готовиться. Пересчитали и начистили серебро, спрятали несколько рулонов ткани за фальшивой стеной в гостиной и даже связались с комиссией, которая распределяла выселенных евреев по новым адресам, чтобы попросить жилье чистое и достаточно большое, чтобы вместить всех, включая Халину, Милу и Фелицию. И все же ничто не могло по-настоящему подготовить Нехуму к чувствам, которые она будет испытывать, покидая дом четырнадцать по Варшавской улице, в котором прожила более тридцати лет.

– Давайте быстро соберемся и покончим с этим, – объявила она, когда успокоилась.

Нехума с Милой раскладывали по кучкам самое ценное имущество, а Сол и Халина перевозили в выделенную им на Любельской улице в Старом квартале квартиру с двумя спальнями медные котлы и прикроватные лампы, персидский ковер, любимую картину маслом, купленную много лет назад в Париже, набитый постельным бельем мешок, швейный набор, маленькую жестянку с приправами. Не зная, когда смогут вернуться домой, они набили чемоданы одеждой для всех сезонов.

К полудню Сол объявил, что квартира почти забита.

– Когда мы принесем ценности, места больше не останется.

Это не стало шоком, но сердце Нехумы упало. Она знала, что ванну, ее письменный стол и рояль придется оставить, так же как и старинную банкетку для туалетного столика, которую она обила французской шелковой парчой; медное изголовье кровати с красивыми литыми узорами и круглыми столбиками – неожиданный подарок от Сола на десятилетие их свадьбы;

китайский шкафчик с зеркалом, который принадлежал еще ее прабабушке; кованую корзину на балконе, куда она каждую весну высаживала герань и крокусы – их ей тоже будет не хватать. Но как можно оставить портрет отца Сола, Гершона, который висел в гостиной? Скатерть цвета индиго и статуэтки из слоновой кости, которые она годами привозила из поездок? Хрустальную супницу с дутым виноградом, которую она поставила на подоконник гостиной, чтобы та ловила утренний свет?

Миновал полдень, Нехума бродила по квартире, проводя пальцами по корешкам любимых книг и копаясь в коробках с рисунками и заданиями, которые хранила со времен учебы детей в школе. Хотя они не принесут никакой пользы на новой квартире, это важные вещи, поняла Нехума, переворачивая их в руках. То, что сформировало их. В итоге она позволила себе один чемодан памятных вещей, с которыми просто не могла расстаться: собрание вальсов Шопена для фортепиано, стопку семейных фотографий, книгу стихов Переца. Она сложила ноты колыбельной Брамса, которую Адди выучил в пять лет, с написанной на полях пометкой от учительницы: «Очень хорошо, Адди, продолжай упорно работать». Позолоченную рамку с выгравированными цифрами 1911 и фотографией Милы, лысой и с огромными глазами, не старше, чем Фелиция сейчас. Крошечные ботиночки из красной кожи, в которых делали свои первые шаги Генек, потом Адди, а потом и Яков. Выцветшую розовую заколку, которую Халина упорно носила каждый день в течение многих лет. Остальные вещи своих детей она аккуратно разложила по коробкам, которые затолкала в самую даль самого глубокого шкафа, молясь, что скоро вернется к ним.

Теперь на обеденном столе Нехума откладывает для Собчаков серебряную супницу и половник. Остальное они заберут с собой.

– Давайте начнем с фарфора.

Она поднимает со стола чашку с золотым ободком и нежно-розовыми пионами. Они заворачивают каждую чашку и блюдце в льняные салфетки и укладывают в коробку, потом берутся за столовое серебро, два комплекта: один достался им по наследству от мамы Сола, второй – от мамы Нехумы.

– Я подумала, что заверну их в ткань и пришью к блузке, чтобы выглядело как пуговицы, – говорит Нехума, показывая на две золотые монеты сверху солидной стопки купюр злых – крупница сбережений, которые они сумели обналечить до того, как их банковские счета заморозили.

– Хорошая идея, – говорит Мила.

Она берет серебряное зеркальце с ручкой и мгновение всматривается в свое отражение, морща нос при виде темных кругов под глазами.

– Оно принадлежало твоей маме, да?

– Да.

Мила осторожно кладет зеркальце в коробку, накрывая сверху несколькими слоями итальянского шелка цвета слоновой кости и белого французского кружева.

Нехума складывает злотые, закатывает их вместе с золотыми монетами в салфетку и кладет ее в свою сумочку.

Теперь на столе остается только черный бархатный мешочек. Мила берет его.

– Что это? Тяжелый.

Нехума улыбается:

– Сейчас. Я тебе покажу.

Мила передает мешочек ей, и Нехума развязывает тесемки, стягивающие верх.

– Подставь руку, – говорит она, высыпая содержимое на ладонь Милы.

– О, – выдыхает Мила. – Вот это да!

Нехума смотрит на кулон, сверкающий на ладони дочери.

– Это аметист, – шепчет она. – Я нашла его несколько лет назад в Вене. Есть в нем что-то такое... Я не устояла.

Мила поворачивает фиолетовый камень, и ее глаза округляются, когда он отражает свет люстры над головой.

– Он прекрасен.

– Правда?

– Почему ты никогда его не надевала? – спрашивает Мила, прикладывая золотую цепочку к своим ключицам и ощущая вес камня.

– Не знаю. Мне это казалось тщеславным. Мне всегда было неловко его надевать.

Нехума вспоминает день, когда она впервые увидела кулон; от мысли обладать такой экстравагантной вещью у нее ослабели колени. Это было в тридцать пятом году, она ездила в Вену покупать ткани и увидела кулон в витрине ювелирного магазина, когда шла на вокзал. Она померила его и, повинуясь не свойственному ей порыву, решила, что должна его купить, и уже на выходе из магазина подумала, не пожалеет ли о своем решении. Это инвестиция, сказала она себе. И кроме того, она его заработала. К тому времени ее магазин уже много лет приносил прибыль, а дети стали по большей части независимыми, заканчивали обучение в университете, зарабатывали сами. Да, цена была заоблачная, но она вспоминает, как думала, что это первый раз в жизни, когда она может оправдать транжирство.

Нехума вздрагивает, услышав удары в дверь. Она потеряла счет времени. Должно быть, вернулись солдаты вермахта, чтобы выпроводить их. Мила быстро опускает кулон обратно в мешочек, и Нехума прячет его под блузку, между грудей.

– Видно? – спрашивает она.

Мила отрицательно качает головой.

– Оставайся здесь, – шепчет Нехума. – Не спускай глаз с этого, – добавляет она, ставя свою сумку поверх коробки с ценностями у их ног.

Мила кивает.

Нехума разворачивается и расправляет плечи, глубоко вдыхает, собираясь с духом. Перед дверью она поднимает подбородок, почти незаметно, когда говорит солдатам вермахта на несовершенном немецком, что ее муж и дочь скоро вернуться, чтобы помочь отнести последние вещи.

– Нам нужно еще пятнадцать минут, – невозмутимо говорит она.

Один из солдат смотрит на часы.

– Fünf minuten, – рявкает он. – Schnell⁴⁵.

Нехума ничего не говорит. Она отворачивается от двери, едва сдерживаясь, чтобы не плюнуть на начищенные кожаные сапоги офицера. Сжав пальцы вокруг ключа от квартиры – она еще не готова его отдать, – она в последний раз обходит дом, быстро заходя в каждую комнату, осматривая, не забыла ли чего, заставляя взгляд перепрыгивать через вещи, которые решила не забирать; если она посмотрит подольше, то засомневается и расставание с ними превратится в мучение. В спальне она поправляет лампу, чтобы основание стояло параллельно краю комода, и разглаживает складки на простыне. Снова и снова складывает полотенце в уборной. Подтягивает штору в комнате Якова, чтобы та висела симметрично со второй. Она наводит порядок, как будто ожидает гостей.

В гостиной, которую она оставила напоследок, Нехума задерживается подольше, глядя на место, где ее дети часами упражнялись за роялем, где столько лет они собирались после трапезы. Подойдя к инструменту, она проводит рукой по полированной крышке. Медленно, беззвучно опускает ее на клавиши. Повернувшись, она обводит взглядом дубовые панели на стенах, письменный стол у окна, выходящего на двор, где она больше всего на свете любила

⁴⁵ Пять минут. Быстро. (нем.)

сидеть и писать, голубой бархатный диван и такие же кресла, мраморную облицовку камина, полки от пола до потолка, заполненные нотами Шопена, Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, Малера, Брамса, Шумана, Шуберта и произведениями их любимых польских авторов: Сенкевича, Жеромского, Рабиновича, Переца. Тихо подойдя к письменному столу, Нехума стирает пыль с атласного дерева, радуясь, что не забыла упаковать канцелярские принадлежности и любимую перьевую ручку. Завтра она напишет Адди в Тулузу и сообщит новый адрес и новое положение дел.

Адди. Нехуму очень беспокоит, что скоро он покинет Тулузу, чтобы вступить в армию. Она и так уже подверглась стрессу, отправив двоих сыновей в армию. По крайней мере, служба Генека и Якова оказалась короткой, Польша сдалась быстро. Франция, наоборот, еще не вступила в войну. Если французы начнут боевые действия, а это всего лишь вопрос времени, никто не сможет сказать, сколько они продлятся. Адди может носить форму месяцами. Годами. Нехуму пробирает дрожь, она молится, чтобы письмо застало его до отъезда в Партене. Надо будет написать Генеку и Якову во Львов тоже. Ее сыновья придут в ярость, когда узнают, что семью выгнали из дома.

Нехума поднимает полные слез глаза к потолку. «Это ненадолго», – говорит она себе. Выдохнув, она смотрит на портрет свекра, он взирает на нее сверху вниз, грозно и пронизательно. Она сглатывает и почтительно склоняет голову.

– Присмотрите за нашим домом, ладно? – шепчет она.

Она касается пальцами губ и прикладывает их к стене, а затем медленно идет к двери.

Глава 11

Адди

*Пуатье, Франция
15 апреля 1940 года*

Под темно-зелеными пиками бесконечного ряда кипарисов скрипят по пыльной дороге двенадцать пар кожаных подошв. Люди идут с самого рассвета, а скоро уже начнет смеркаться.

Последние несколько часов Адди слушал синхронный ритм шагов позади, игнорируя мозоли на ногах и думая о Радоме. Вестей от мамы не было уже полгода, в конце октября, перед самым отъездом из Тулузы, он получил ее последнее письмо. Она сообщала, что семья в порядке, за исключением Селима, который пропал без вести; что его братья все еще во Львове; что Яков и Белла собираются вскоре пожениться. «Магазин закрыли. Нас направили на работу», – писала Нехума, рассказывая о новых назначениях. Введены комендантский час и выдача продуктов по нормам, а немцы омерзительны, но главное, настаивала Нехума, что все здоровы и в основном обеспечены. В конце, перед самой подписью, она сообщила, что две еврейские семьи из их дома выселили и отправили в крохотные квартирки в Старом городе. «Я боюсь, – писала она, – что мы станем следующими».

В ответном письме Адди умолял маму сразу же сообщить ему, если их заставят переехать, и написать адреса Якова и Генека, но так и не получил ответа до своего отъезда из Тулузы. Теперь он на марше, вне досягаемости. С каждым днем, с каждой проходящей неделей узел в груди затягивается все туже. Адди не нравится ощущать себя таким далеким, таким беспомощно оторванным от своей семьи в Польше.

Адди включает головной фонарь, приказывая себе верить в лучшее. Стало так легко представлять себе самое ужасное. Он не должен попадаться в эту ловушку. И поэтому, вместо того чтобы представлять родителей и сестер изгнанными из дома и обреченными на рабский труд на какой-нибудь кухне или фабрике под надзором вермахта, он думает о Радоме – о старом Радоме, каким его помнит. Весна всегда была его любимым временем года в родном городе, потому что это время седера и дней рождения, его и Халины. Весной реки Радомка и Млечна разливаются, напитывая водой ржаные поля и фруктовые сады, а на раскидистых каштанах вдоль Варшавской улицы распускаются листья, обеспечивая тенью покупателей, внимательно изучающих магазинчики кожгалантереи, мыла и часов. Весной цветочные ящики на балконах на улице Мальчевского переполнены алыми маками – долгожданная передышка после длинных серых зим; в парке Костюшко по четвергам кишат торговцы, продающие соленые огурцы, шинкованную свеклу, копченый сыр и кислое ржаное сусло; сосед Курцей Антон приглашает соседских детей посмотреть на птенцов, которые еще и на птиц-то непохожи, такие крохотные и покрытые белесым пушком, не умеющие даже держать голову. В детстве Адди нравилось смотреть, как стая Антоновых голубей взлетает из окна на карниз остроконечной крыши и там тихо воркует, несколько минут возвышаясь над двором, прежде чем вернуться через окно в деревянный вольер, который смастерил для них владелец.

Адди улыбается воспоминаниям, но образы исчезают, когда в его сознание врывается звук и резко возвращает его в настоящее. Треск. Он напрягается и останавливается, вскидывая согнутую в локте руку ладонью вверх. Моментально солдаты за его спиной замирают. Адди наклоняет голову, прислушиваясь. Вот опять, треск раздается из старых кустов у подножия кипариса в нескольких метрах впереди. Адди снимает винтовку с предохранителя.

– Приготовиться, – шепчет он на польском, плавно кладя указательный палец на спусковой крючок и направляя ствол на кусты. Позади него тихо щелкают двенадцать предохраните-

лей. Треск прекращается. Адди подумывает выстрелить, но решает подождать. Что, если это всего лишь енот... или ребенок?

Год назад он мог по пальцам одной руки пересчитать случаи, когда держал в руках оружие. Раньше дядя иногда приглашал его с братьями на фазанью охоту, и хотя Генеку нравилось, Адди и Яков предпочитали оставаться у костра, находя весь процесс вспугивания птицы из убежища непривлекательным. Теперь от мыслей об ответственности, которую он берет на себя каждый раз, когда наводит куда-то винтовку, у него голова идет кругом.

Он и его люди наводят стволы на заросли кустарника и ждут. Через минуту под одним из кустов появляется что-то маленькое, треугольное, черное и блестящее. В следующее мгновение нижние ветки раздвигаются и появляется охотничья собака. Пес принохивается к темнеющему небу, затем невозмутимо оглядывается через плечо на уставившихся на него людей, на тринадцать нацеленных на него винтовок. Адди выдыхает, радуясь, что не поторопился с выстрелом. Он опускает винтовку.

– Вы нас напугали, капитан, – говорит он, но собака равнодушно поворачивается и трусит по дороге на восток.

– У нас новый проводник, – шутит Кир из задних рядов. – Капитан Лапкин.

Вокруг раздаются смешки.

– Идем, – приказывает Адди.

Винтовки снова поставлены на предохранители, и мужчины маршируют дальше, воздух вокруг них снова наполняется ровным ритмом стука ботинок о землю.

Над головой толстый слой облаков. Прохладный воздух пахнет дождем. Через километр или два Адди решает, что пора устраивать лагерь, пока еще светло и не начался дождь. При этом его память возвращается в Тулузу, и он думает, как сильно изменилась его жизнь за полгода.

Пятого ноября Адди скрепя сердце покинул свою квартиру на рю Ремюза и шестого, как и было приказано, прибыл в Партене в расположение второй польской пехотной дивизии французской армии. После восьми недель начальной подготовки его наградили официальной формой французской армии и присвоили, благодаря его инженерному образованию, свободному владению французским и польским, звание сержанта, что поставило его во главе двенадцати прапорщиков. Адди радовался обществу молодых поляков, которое хоть немного заполняло пустоту, поглотившую его с тех пор, как его лишили права вернуться домой – но это и все, что его устраивало в армии. Он изо всех сил старался это скрывать, но винтовка лежала в руках неловко, а когда капитан рявкал приказы, его тянуло смеяться. Во время учений он мысленно сочинял музыку, чтобы отвлечься от монотонности во время бега с ускорением и учебных стрельб. Однако, несмотря на свою неприязнь к военной жизни, он обнаружил, что дни проходят веселее, если следовать режиму. Через некоторое время он носил свои шевроны с толикой гордости и выяснил, что на самом деле весьма неплохо командует своим маленьким подразделением. По крайней мере в том, что касается логистики – привести своих людей из точки А в точку Б, между делом узнавая их сильные стороны и делегируя задания. Например, на марше Бартек каждую ночь разжигал костры в лагере. Падло готовил. Новицкий забирался на самое высокое дерево в окрестностях, чтобы убедиться, что на горизонте чисто. Слобода учил всех, как без риска выдернуть чеку гранат wz. 33, которые они носили на ремнях, и что делать, если пуля застряла в канале их винтовок Бертье при выстреле в ствол. Кир же, лучший из отряда, по мнению Адди, выбирал походные песни, чтобы убить время. На данный момент популярностью пользовались «Марш Первой бригады» и, конечно, самый патриотичный польский гимн «Боже, храни Польшу».

Пару дней назад взводу Адди, как и остальным во второй пехотной, было приказано пройти маршем пятьдесят километров до Пуатье. Адди полагает, им осталось пройти еще километров двадцать. Из Пуатье они с военным конвоем преодолеют еще около семисот кило-

метров до Бельфора на границе со Швейцарией, а от Бельфора должны направиться на соединение с восьмой армией в Коломбе-ле-Бель, городке недалеко от немецкой границы, который лежит на французской оборонительной линии Мажино. Адди никогда не бывал в Пуатье, Бельфоре или Коломбе-ле-Бель, но изучал их на карте. Они далеко друг от друга.

– Кир! – кричит Адди через плечо, ему нужно отвлечься. – Музыка, пожалуйста.

Из хвоста колонны доносится «Есть, сэр!» и после небольшой паузы свист. При звуке первых нот Адди наострил уши. Он моментально узнает мелодию. Песня называется «Письмо». Это его музыка. Другие тоже ее узнают и присоединяются, и скоро свист становится громче.

Адди улыбается. Он никому не рассказывал, что мечтает стать композитором и о песне, музыку к которой написал до войны и которая, определенно, пользуется успехом, потому что его взвод знает ее наизусть. Возможно, это знак, думает Адди. Возможно, то, что он услышал ее сейчас, говорит о том, что воссоединение с семьей всего лишь вопрос времени. Ведь, в конце концов, это песня о письме. Узел в груди Адди расслабляется. Он мурлычет вместе со своими людьми, на ходу мысленно составляя следующее письмо домой: «Мама, ты не поверишь, что я сегодня услышал...».

10 мая 1940 года. Нацисты вторгаются в Нидерланды, Бельгию и Францию. Несмотря на действия союзников, Нидерланды и Бельгия капитулируют в течение месяца.

3 июня 1940 года. Нацисты бомбят Париж.

22 июня 1940 года. Правительства Франции и Германии заключают перемирие, разделив Францию на свободную зону на юге под управлением марионеточного режима маршала Петена со столицей в городе Виши и подконтрольную Германии оккупированную зону на севере и вдоль Атлантического побережья.

Глава 12

Генек и Херта

*Львов, оккупированная Советами часть Польши
28 июня 1940 года*

Стук раздается среди ночи. Генек распахивает глаза. Они с Херттой садятся в кровати, моргая в темноте. Еще стук, а затем приказ.

– Откройте!

Генек откидывает ногами простыню, нащупывает цепочку прикроватной лампы и прищуривается, пока глаза привыкают к свету. Воздух в маленькой комнатке горячий и спертый: во Львове еще действует режим светомаскировки, поэтому шторы у них постоянно опущены. Больше не поспишь с открытыми окнами. Генек проводит тыльной стороной руки по лбу, вытирая пот.

– Как думаешь... – шепчет Херта, но ее прерывает следующий крик.

– Народный комиссариат внутренних дел!

Голос снаружи достаточно громкий, чтобы разбудить соседей.

Генек ругается. Глаза Херты огромные от страха. Это они. Тайная полиция. Они встают с кровати.

За девять месяцев, что они живут во Львове, Генек и Херта слышали истории о таких ночных вторжениях: мужчин, женщин и детей вытаскивали из постели за незаконные денежные средства, за якобы участие в подполье, просто за то, что они поляки. Соседи обвиняемых рассказывали, что слышали стук, шаги, собачий лай, а с утра ничего, дома были пусты. Люди исчезали целыми семьями. Никто не знал, куда их забирали.

– Лучше открыть, – говорит Генек, убеждая себя, что ему нечего бояться. Что может быть на него у тайной полиции? Он не сделал ничего плохого.

Он прочищает горло и кричит:

– Иду.

Он тянется за халатом и в последнюю минуту захватывает с комода бумажник и кладет в карман. Херта накидывает свой халат поверх ночной сорочки и идет следом за ним по коридору.

Как только Генек отпирает дверь, в квартиру врывается орава солдат с винтовками и встает полукругом. Генек чувствует, как Херта берет его под руку, а сам считает нарукавные знаки с серпом и молотом, синие фуражки с краповыми околышами – всего восемь человек. Почему так много? Он исподлобья смотрит на незваных гостей, сжав кулаки, волосы на загривке стоят дыбом. Солдаты смотрят на него, сурово сжав зубы, наконец один из них выходит вперед. Генек смеривает его взглядом. Маленького роста, коренастый, как борец, с важным видом – командир. Маленькая красная звезда над его козырьком прыгает вверх-вниз, когда он кивает своим людям, которые послушно разворачиваются на каблуках и проходят мимо них в коридор.

– Стойте! – возражает Генек, сердито глядя на спины их гимнастеров. – Какое право вы... – он чуть не произносит «тараканы», но вовремя прикусывает язык. – По какому праву вы обыскиваете мой дом?

Он чувствует, как в висках начинает стучать кровь.

Офицер достает из нагрудного кармана бумагу, аккуратно разворачивает и читает.

– Герзон Курк?

– Я Гершон.

– У нас ордер на обыск квартиры.

Офицер плохо говорит по-польски, с сильным акцентом. Он на мгновение тыкает бумагой Генеку в лицо, как будто доказывая ее достоверность, затем складывает и убирает обратно в карман. Генек слышит погром в соседних комнатах: из комода вытаскивают ящики, по паркету двигают мебель, разбрасывают бумаги.

– Ордер? – прищуривается Генек. – На каких основаниях?

Он смотрит на винтовку, висящую на плече офицера. В армии ему показывали фото советских карабинов, но Генеку еще не доводилось видеть их вблизи. Это, похоже, М38⁴⁶. Или, возможно, М91/30⁴⁷. Он знает, где искать предохранитель. Тот снят.

– Что происходит?

Офицер игнорирует вопрос.

– Ждите здесь, – говорит он, засовывая пальцы за ремень португалии, и проходит в коридор, неспешно, как у себя дома.

Они остаются в прихожей одни, Херта отпускает Генека и обнимает себя обеими руками, морщась, когда что-то тяжелое падает на пол с характерным звуком.

– Сволочи, – шепчет Генек себе под нос. – Что они о себе возомнили...

Херта встречается с ним взглядом.

– Не надо, услышат, – шепчет она.

Генек прикусывает язык, тяжело дыша через раздувающиеся ноздри. Молчание стоит ему невероятных усилий. Он ходит взад-вперед, уперев руки в бока. Внутренний юрист велит потребовать показать ордер – он не может быть настоящим, – но что-то подсказывает ему, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Через несколько минут толпа мужчин в форме снова собирается у двери. Они стоят, ноги на ширине плеч, выпятив грудь, как петухи, все еще сжимая свое оружие. Командир тычет пальцем в Генека:

– Курк, мы забираем вас на допрос.

– За что? – спрашивает Генек сквозь зубы. – Я ничего не сделал.

– Просто несколько вопросов.

Генек сердито смотрит на русского сверху вниз, наслаждаясь тем, что выше него на целую голову, так что офицер вынужден поднимать свою, чтобы посмотреть ему в глаза.

– И потом я смогу вернуться домой?

– Да.

Херта делает шаг вперед.

– Я иду с тобой.

Это утверждение, ее тон не терпит возражений. Генек смотрит на нее, обдумывая аргументы, но она права: лучше, если она пойдет. Что, если НКВД вернется?

– Она идет со мной, – говорит Генек.

– Хорошо.

– Нам надо одеться, – говорит Херта.

Офицер смотрит на часы и показывает на пальцах:

– У вас три минуты.

В спальне Генек надевает брюки и рубашку. Херта застегивает молнию юбки и наклоняется достать из-под кровати чемодан.

– На всякий случай, – говорит она. – Кто знает, когда мы вернемся.

Генек кивает и достает свой чемодан. Не хочется признавать, но Херта может оказаться права, предполагая худшее. Он кладет в чемодан нижнее белье, новенькие армейские ботинки, фотографию родителей, карманный нож, черепаховый гребень, колоду карт, записную книжку.

⁴⁶ Карабин Мосина образца 1938 года.

⁴⁷ Винтовка Мосина образца 1891/1930 года.

Достаёт из халата бумажник и перекладывает его в карман брюк. Херта берёт маленькую стопку чулок, бельё, щётку для волос, две пары брюк, шерстяную кофту. В последнюю минуту они решают взять зимние пальто, затем спешат по коридору в кухню забрать из кладовки остатки хлеба, яблоко и немного солёной рыбы.

– Кошелек, – шепчет Херта. – Чуть не забыла.

Она возвращается в спальню. Генек идет за ней, хмурясь, потому что его собственный бумажник почти пуст.

– На выход! – рявкает офицер из прихожей.

– Нашла? – спрашивает Генек. Но Херта не отвечает. Она стоит у раскрытой двери шкафа, обхватив руками голову, каштановые волосы струятся между пальцев.

– Его нет, – шепчет она.

Генек подносит кулак ко рту, чтобы не выругаться.

– Что в нём было?

– Мое удостоверение, деньги... много денег, – Херта касается левого запястья. – Часы тоже пропали. Они лежали... кажется, на тумбочке.

– Гады, – шепчет Генек.

Офицер кричит еще раз, и Генек с Херттой молча возвращаются в прихожую.

Через двадцать минут они сидят за маленьким столом напротив офицера в такой же синей фуражке с красным околышем, как у того, который их привез. Комната пуста, за исключением висящего на стене портрета Иосифа Сталина. Генек чувствует, как Генеральный секретарь впивается в него взглядом из-под кустистых бровей, словно коршун, и борется с желанием сорвать портрет со стены и разорвать на клочки.

– Вы говорите, что вы поляк.

Офицер напротив них даже не пытается скрыть отвращения в голосе. Прищурившись, он смотрит на лист бумаги перед собой. Генек гадает: наверное, это так называемый ордер.

– Да. Я поляк.

– Где вы родились?

– Я родился в Радоме, это триста пятьдесят километров отсюда.

Офицер кладет на стол еще один лист, и Генек сразу же узнает собственный почерк. Это бланк анкеты, которую его заставили заполнить при подписании договора на аренду с хозяином квартиры на Зеленой улице вскоре после того, как Советы взяли Львов под контроль в сентябре. Соглашение было написано на советском бланке, тогда Генек не придавал этому значения.

– Ваша семья до сих пор в Радоме?

– Да.

– Польша капитулировала девять месяцев назад. Почему вы не вернулись?

– Я нашел работу здесь, – говорит Генек, однако это правда лишь наполовину.

Положа руку на сердце, ему не хотелось возвращаться. Машины письма рисовали ужасную картину: повязки на рукава, которые евреев заставляли носить всегда, комендантский час во всем городе, двенадцатичасовые рабочие дни, законы, запрещающие ей пользоваться трогуарами, ходить в кино, ходить на почту без особого разрешения. Нехума писала о том, как их, вместе с тысячами других евреев, живших в центре города, выселили из квартир и заставляли оплачивать аренду крошечной квартирки в Старом городе. «Как нам платить аренду, если они отняли наш бизнес, конфисковали сбережения и заставляют работать, словно рабов, практически за бесценок? – сердилась она. Она убеждала его остаться. – Вам будет лучше во Львове».

– Какую работу?

– Я работаю в юридической конторе.

Офицер смотрит на него с подозрением.

– Вы еврей. Евреи не могут быть юристами.

Слова обжигают, как капли воды на горячей сковородке.

– Я помощник, – говорит Генек.

Офицер подается вперед на своем деревянном стуле и кладет локти на стол.

– Вы понимаете, Курц, что теперь находитесь на советской земле?

Генек открывает рот, его так и подмывает дать себе волю – «Нет, сэр, вы ошибаетесь, это вы на польской земле», – но вовремя спохватывается, и в этот момент понимает причину своего ареста. В анкете была клеточка, которую надо было отметить, чтобы принять советское гражданство. Он оставил ее пустой. Ему казалось притворством называть себя иначе, чем поляком. Как можно? Советский Союз – враг его родины, и всегда им был. И кроме того, Генек всю жизнь провел в Польше, сражался за Польшу и ни за что не собирался отказываться от своей национальности только потому, что граница изменилась. Генек чувствует, как у него поднимается температура, когда понимает, что анкета не была простой формальностью, это была своеобразная проверка. Способ Советов отделить гордых от слабых. Отказавшись от гражданства, он показал себя сопротивленцем, человеком, который может быть опасным. Почему бы еще они пришли за ним? Он молчит, отказываясь признать, что в словах офицера есть правда, и вместо ответа спокойно и упрямо смотрит ему в глаза.

– И тем не менее, – продолжает офицер, тыкая пальцем в анкету, – вы продолжаете утверждать, что вы поляк.

– Я же сказал вам. Я из Польши.

Вены на шее офицера становятся одинакового цвета с пурпурной окантовкой его воротника.

– Нет больше никакой Польши! – ревет он, брызжа слюной.

Появляется пара солдат, и Генек узнает в них тех, кто обыскивал его квартиру. Он злобно смотрит на них, думая, не один ли из них украл кошелек Херты. Бандиты. И все заканчивается. Офицер отпускает их кивком головы, и Генека с Хертой под конвоем сопровождают из милиции на железнодорожный вокзал.

Внутри товарного вагона темно и жарко, душный воздух провонял человеческими испражнениями. Внутри теснятся, должно быть, три дюжины человек, но сложно сказать наверняка, к тому же, они потеряли счет умершим. Заключенные сидят плечом к плечу, их головы качаются вперед-назад в унисон с грохотом поезда по кривым рельсам. Генек закрывает глаза, но спать сидя невозможно, а его очередь лечь наступит еще не скоро. Мужчина сидит на корточках над прорубленной в центре вагона дырой, и Херта давится рвотными позывами. Вонючка невыносимая.

Сегодня двадцать третье июля. Они провели в товарном вагоне двадцать пять дней: каждый день Генек вырезал карманным ножом засечку на полу. В некоторые дни поезд мчит с утра до ночи, не сбавляя скорости. В другие останавливается, и двери распахиваются, за ними видны маленькие станции и вывески с неизвестными названиями. Время от времени храбрая душа из ближайшей деревни приближается к путям и сочувственно спрашивает: «Бедные люди... куда их везут?». Некоторые приносят ломоть хлеба, бутылку воды, яблоко, но русские охранники быстро их прогоняют, ругаясь и держа карабины на изготовку. На некоторых станциях несколько вагонов отцепляют и заворачивают на север или на юг. Но вагон Генека и Херты едет дальше. Конечно, им не сказали, когда или где их высадят, но, если прижаться лицом к щелям в стенах вагона, видно, что они едут на восток.

Когда они в самом начале сели в вагон во Львове, Генек с Хертой постарались познакомиться с остальными. Все поляки, есть и католики, и евреи. Большинство, как их самих, взяли посреди ночи, все истории похожи: арест за отказ от советского гражданства, как в случае с Генеком, или по какому-либо сфабрикованному обвинению, когда невозможно доказать, что ты ничего не совершал. Кто-то один, с кем-то рядом брат или жена. Есть несколько детей. Какое-то время Генек и Херта находили утешение в разговорах с другими заключенными,

делясь историями о жизнях и семьях, которые остались позади; это помогало им не чувствовать себя одинокими. Что бы ни уготовила им судьба, узникам становилось легче от мысли, что они встретят ее вместе. Но через несколько дней темы закончились. Разговоры стихли, и вагон накрыла траурная тишина, словно пепел поверх умирающего костра. Кто-то плакал, но большинство спали или просто молча сидели, все глубже погружаясь в себя, придавленные страхом перед неизвестностью, осознанием того, что куда бы их ни отправили, это очень-очень далеко от дома.

Поезд скрипит тормозами, и у Генека урчит в животе. Он не помнит, каково это – не быть голодным. Через несколько минут металлическая щеколда поднимается и тяжелая дверь вагона откатывается в сторону, пропуская внутрь солнечный свет, в котором купаются узники. Они трут глаза и, щурясь, выглядывают наружу. Обрамленный дверью пейзаж уныл: плоская бесконечная тундра, а вдалеке лес. Они единственные люди куда ни глянь. Никто не встает. Все знают, что без приказа не стоит и пытаться вылезти из вагона.

В вагон влезает охранник в фуражке со звездой, перешагивая через ноги и завшивевшие тела. В дальнем углу он останавливается, наклоняется и тыкает в плечо узника, который сидит у стены, опустив подбородок на грудь. Старик не реагирует. Охранник снова пихает его, и на этот раз тело мужчины наклоняется влево, его лоб тяжело падает на плечо сидящей рядом женщины, она ахает.

Охранник кажется раздраженным.

– Степан! – кричит он, и скоро в дверях появляется его товарищ в такой же фуражке. – Еще один.

Новый охранник забирается внутрь.

– Двигайтесь! – рявкает он, и поляки в углу с трудом поднимаются на ноги.

Херга отворачивается, когда советские солдаты поднимают безвольное тело и тащат его к двери. Когда они проходят мимо, Генек поднимает голову, но лица старика не видно, и он видит только руку, свисающую под неестественным углом, кожа болезненно желтая, цвета слизи. У двери охранники считают до трех и, крикнув, выбрасывают труп из поезда.

Херга прикрывает уши, боясь, что закричит, если услышит, как еще один труп ударяется о землю. Это третий, кого выкидывают таким образом. Словно мусор, оставляя гнить возле железнодорожных путей. Некоторое время у нее получалось отрешиться от этого, от этой гнусности. Она позволила себе стать бесчувственной. Иногда она притворялась, что все это фарс, что-то из фильма ужасов, и позволяла сознанию воспарить над телом, наблюдая за собой сверху. Иногда мысли совсем уносили ее из поезда, вызывая образ альтернативной реальности, обычно сохраненный из прошлого, из жизни в Бельско: роскошная синагога на улице Мая с богато украшенным неороманским фасадом и двумя башнями в мавританском стиле; вид на долину и прекрасный Бельский замок с горы Шиндзельня; ее любимый тенистый парк в паре кварталов от реки Бяла, где они с семьей устраивали пикники, когда она была маленькой. Она оставалась там, сколько могла, в окружении воспоминаний. Но на прошлой неделе, когда умер ребенок, маленькая девочка не старше племянницы Генека, Херга не выдержала. Девочка умерла от голода. У матери пропало молоко, она несколько дней ничего не говорила, просто молча сидела, склонившись над безжизненным свертком в руках. Однажды днем охранник заметил. И когда они отняли младенца у матери, остальные закричали: «Пожалуйста! Это несправедливо! Оставьте ее, пожалуйста!» Но охранники отвернулись и выбросили крошечное тельце из вагона, как и другие трупы, а мольбы узников скоро заглушил отчаянный вой женщины, чье сердце разорвали надвое, женщины, которая будет отказываться от еды, чье горе будет слишком невыносимым и чье безжизненное тело выбросят из вагона четыре дня спустя.

Именно тихий удар детского тельца о землю сломал Херту, и оцепенение сменилось ненавистью, которая горела так глубоко, что она думала, как бы не загорелись внутренние органы.

В вагон входит третий охранник с ведром воды и корзиной хлеба – твердыми как кора ломтиками размером с пачку сигарет. Генек берет один, отламывает кусочек и передает оставшееся Херте. Она качает головой, ее слишком тошнит.

Дверь закрывается, и в вагоне снова темно. Генек чешет голову, и Херта берет его за руку.
– Будет только хуже, – шепчет она.

Генек сутулится, не зная, что ему противно больше: что он заперт в мире неминуемого разложения или армия вшей, расплодившихся на его грязной голове. Он поправляет чемодан под собой и дышит через рот, чтобы избежать зловония смерти и гниения. В следующее мгновение его хлопают по плечу. До него дошла общественная жестянка с водой. Он вздыхает, макает хлеб в протухшую воду и передает жестянку Херте. Она делает маленький глоток и передает воду сидящему справа.

– Отвратительно, – шепчет Херта, вытирая рот тыльной стороной кисти.

– Это все, что у нас есть. Без нее мы умрем.

– Я не про воду. Про остальное. Про все.

Генек берет Херту за руку.

– Знаю. Нам нужно только слезть с поезда, а дальше мы справимся. Все будет хорошо.

В темноте он чувствует взгляд Херты.

– Будет?

Его охватывает уже знакомое чувство вины, когда Генек задумывается о том, что именно он несет ответственность за их пребывание здесь. Подумай он на секунду о возможных последствиях отказа от советского гражданства, поставь добровольно галочку в анкете в тот роковой день, все было бы по-другому. Они, скорее всего, до сих пор жили бы во Львове. Он упирается затылком в стену вагона. Тогда все казалось таким очевидным. Отказаться от польского гражданства было бы предательством. Херта клянется, что тоже не стала бы заявлять о своей лояльности Советам, что поступила бы точно так же, будь она на его месте, но если бы только можно было повернуть время вспять.

– Будет, – кивает Генек, глотая угрызения совести. Куда бы они ни направлялись, там должно быть лучше этого поезда.

– Будет, – повторяет он, желая хоть немного свежего воздуха. Хоть какой-то ясности.

Он закрывает глаза, мучимый ощущением беспомощности, которое угнездилося в нем, как горсть камней, с тех пор как они сели в вагон. Он его ненавидит. Но что тут сделаешь? Его остроумие, обаяние, привлекательность – все, на что он полагался всю свою жизнь, чтобы избегать неприятностей – какая от них польза сейчас? Он всего лишь раз улыбнулся охраннику, думая, что сможет задобрить его любезностями, так эта гнида пригрозила разбить его красивое личико.

Должен быть способ выбраться. Внутренности завязываются узлом, и Генека охватывает внезапный порыв молиться. Он не религиозен, безусловно, не проводит время в молитвах, не видит в этом смысла, по правде говоря. Но он также не привык чувствовать себя таким беззащитным. Если и бывает время просить о помощи, решает он, то оно наступило. Не повредит.

И Генек молится. Молится о том, чтобы их исход длиной в месяц подошел к концу; чтобы условия жизни в том месте, где они окажутся, когда им разрешат покинуть поезд, были приемлемыми; за здоровье свое и Херты; за благополучие родителей, за благополучие братьев и сестер, особенно Адди, которого он не видел больше года. Он молится о том дне, когда снова сможет быть вместе с семьей. Если война скоро закончится, фантазирует он, может быть, он увидит их в октябре, на Рош ха-Шану. Как здорово будет начать еврейский новый год вместе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.